

- [Юрий Васильевич Бондарев](#)
 - [Юрий Васильевич Бондарев. Батальоны просят огня](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)
 - [Глава тринадцатая](#)
 - [Глава четырнадцатая](#)
 - [Глава пятнадцатая](#)
 - [Глава шестнадцатая](#)
 - [Глава семнадцатая](#)
 - [Глава восемнадцатая](#)
 - [Глава девятнадцатая](#)
 - [Примечания](#)
-

Юрий Васильевич Бондарев

Родился в 1924 году в городе Орске, на Южном Урале. Детство и юность будущего писателя прошли в Москве. Здесь он учился в школе, вступил в комсомол, отсюда вместе со своими одноклассниками отправлялся под Смоленск на строительство оборонительных рубежей жарким летом 1941 года. Юрий Бондарев принадлежит к тому поколению, для которого Великая Отечественная война явилась первым жизненным крещением, высшей суровой школой юности. Ратный путь командира артиллерийского орудия Юрия Бондарева пролегал от стен волжской твердыни до Польши. В 1944 году, двадцатилетний коммунист, командир взвода, после второго ранения он был направлен в Чкаловское артиллерийское училище, где учился до последних дней войны. Демобилизация заставила Юрия Бондарева подумать о мирной профессии. Поиск был трудным и привел его в Литературный институт имени Горького. В тот год набор в институт был необычным. Грудь многих студентов украшали боевые ордена, это были люди, еще не успевшие сменить шинели на штатскую одежду, вчерашние фронтовики, чей жизненный опыт и гражданское мужество рождены и закалены на многотрудных солдатских дорогах. Вполне естественно, что именно эти годы дали наивысший «урожай» писателей и поэтов, которые сейчас широко известны в нашей стране и за рубежом и составляют блестящую плеяду в советской литературе. Юрию Бондареву повезло еще и потому, что его непосредственным руководителем в Литинституте оказался замечательный писатель Константин Георгиевич Паустовский – человек огромной души, тонкий знаток слова, чуткий и доброжелательный воспитатель молодых литераторов.

Тема прошедшей войны, тема высокого гуманизма советского солдата, его кровной ответственности за наш сегодняшний день проходила в произведениях многих писателей. Но у Юрия Бондарева она стала основой в его творчестве.

Повесть «Батальоны просят огня» опубликована в 1957 году. Эта книга, как и последующие, словно бы логически продолжающие «Батальоны...», – «Последние залпы», «Тишина» и «Двое» – принесла автору их Юрию Бондареву широкую известность и признание читателей. Каждое из этих произведений становилось событием в литературной жизни, каждое вызывало оживленную дискуссию. Книги эти переведены на

многие языки мира, выдержали более шестидесяти изданий.

Военная литература у нас довольно обширна, дань военной тематике отдали многие выдающиеся писатели. Однако Юрию Бондареву уже в «Батальонах...» удалось нащупать и развить свою собственную линию, свое течение в широком литературном потоке. Не стремясь к созданию всеобъемлющей картины войны, автор кладет в основу произведения конкретный боевой эпизод, один из многих на бесчисленных полях сражений, и населяет свою повесть совершенно конкретными людьми – простыми солдатами и офицерами – рядовыми великой армии. Писатель углубленно изучает психологию советского человека, нередко в трагических обстоятельствах, и раскрывает его подлинный героизм. Действительно, образ войны у Юрия Бондарева грозный и жестокий. И события, описанные в повести «Батальоны просят огня», глубоко трагичны. Но теперь, с дистанции времени, мы по-новому судим и гордимся сильной душой советского солдата, сознательно идущего на гибель во имя своего народа, во имя грядущей победы. Высоким гуманизмом, любовью и доверием к человеку полны страницы повести.

Повесть «Последние залпы» (1959 г.) явилась как бы следующей главой в творчестве писателя. Юрий Бондарев по-прежнему верен своей теме – теме простого человека на войне, теме героизма и сознательного самопожертвования.

В 1962 году опубликован новый роман Ю. Бондарева «Тишина», а вскоре – его продолжение, роман «Двое». Герой «Тишины» Сергей Вохминцев только что вернулся с фронта. Но и теперь он не может стереть в памяти отзвук еще недавних сражений. Поступки и слова людей он судит самой высокой своей мерой – мерой боевого товарищества, фронтовой дружбы. Но этическое кредо вчерашнего солдата, столкнувшись с жизнью, где рядом с добром уживаются корыстолюбие, ложь и клевета, вынуждено как бы снова подвергнуться оценке по самому большому счету. И в этих обстоятельствах, в нелегкой борьбе за утверждение справедливости и человеческого достоинства выковывается по-новому характер героя, крепнет его гражданская позиция.

В западной литературе послевоенных лет постоянно звучит мотив отчуждения вчерашнего солдата от общества, мотив разрушения идеалов и человечности. Позиция Бондарева в этом смысле не дает повода для двух мнений. Нелегко его герою на первых порах входить в мирную колею, нелегко забыть то время, когда понятия «друг» и «враг» были четко разграничены линией переднего края. Но Сергей Вохминцев недаром прошел долгую и суровую школу жизни. Даже в чем-то проигрывая, он все

равно не может чувствовать себя побежденным. Он снова и снова, как герои прежних книг Бондарева, убеждает читателя, что правда, какой бы горькой она порой ни была, есть только одна. И определенный максимализм героя не кажется нам нарочитым, ибо, как показало время, будущее за правдой, которую отстаивал Сергей Вохминцев, которую отстаивало общество.

Одним из наиболее ярких и значительных произведений Ю. Бондарева мы с полным правом можем назвать его роман «Горячий снег», вышедший отдельной книгой в 1970 году.

Тема массового героизма советского народа в дни самых жестоких испытаний, которую начал разрабатывать Юрий Бондарев еще в первых своих военных повестях, получила в «Горячем снеге» наиболее полное воплощение. Автор рассказывает о последних днях Сталинградской битвы, о людях, вставших насмерть на пути фашистов, рвущихся к окруженной группировке Паулюса.

Много и упорно работая в литературе, Юрий Бондарев не порывает связей и с кино. Широкую популярность у зрителей завоевал фильм «Тишина». По сценарию Ю. Бондарева поставлен фильм-эпопея «Освобождение». Сейчас снимается художественный фильм по роману «Горячий снег». Юрий Васильевич ведет большую общественную работу. Он секретарь правления Союза писателей СССР и РСФСР.

В настоящее время работает над новым романом. На вопрос, о чем будет этот роман, Юрий Васильевич ответил: об интеллигенции 60-х годов. С ретроспекцией в годы войны.

<i>В. Вучетич</i>

Юрий Васильевич Бондарев. Батальоны просят огня

*...Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.*

А. Твардовский

Глава первая

Бомбежка длилась минут сорок. Потом она кончилась. Полковник Гуляев, оглушенный, втиснутый разрывами в пристанционную канаву, провел ладонью по своей багровой шее – ее покалывало, жгло, – выругался и поднял голову.

В черном от дыма небе, неуклюже выстраиваясь, с тугим гулом уходили немецкие самолеты. Они шли низко над лесами на запад, в сторону мутно-красного шара солнца, которое, казалось, пульсировало в клубящейся мгле. Все горело, рвалось, трещало на путях, и там, где еще недавно стояла за пакгаузом старая закопченная водокачка, теперь среди рельсов, дымясь, чернела гора обугленных кирпичей; клочья горячего пепла опадали в нагретом воздухе.

Полковник Гуляев, морщась, осторожно потер обожженную шею, потом грузно вылез на край канавы и сипло крикнул:

– Жорка! А ну, где ты там? Быстро ко мне!

Жорка Витьковский, шофер и адъютант Гуляева, гибкой независимой походкой вышел из пристанционного садика, грызя яблоко. Его мальчишески наглое лицо было спокойно, немецкий автомат небрежно перекинут через плечо, из широких голенищ в разные стороны торчали запасные пенальные магазины.

Он опустилсь возле Гуляева на корточки, с аппетитным треском разгрызая яблоко, весело улыбнулся пухлыми губами, влажными от сока.

– Вот бродяги! – сказал он, все улыбаясь, взглянув в мутное небо, и

добавил невинно: – Съешьте антоновку, товарищ полковник, не обедали ведь...

Это легкомысленное спокойствие мальчишки, вид пылающих вагонов, боль в обожженной шее и это яблоко в руке Жорки внезапно вызвали в Гуляеве злое раздражение.

– Воспользовался уже? Трофеев набрал? – Полковник ударил по протянутой руке адъютанта – яблоко вывалилось; и встал, хмуро отряхивая пепел с погон. – А ну, разыщи коменданта станции! Где он, черт бы его!..

Жорка вздохнул и, придерживая автомат, не спеша двинулся вдоль станционного забора.

– Бегом! – крикнул полковник.

Все, что горело сейчас на этой приднепровской станции, лопалось, взрывалось, трещало и малиновыми молниями вылетало из вагонов, и то, что было покрыто на платформах тлеющими чехлами, – все это уже значилось словно бы собственностью Гуляева, все это прибыло в армию и должно было поступить в дивизию, в его полк и поддерживать в готовящемся прорыве. Все погибало, пропадало в огне, обугливалось, стреляло без цели после более получасовой бомбежки.

«Бестолочи, глупцы! – гневно думал Гуляев о коменданте станции и начальнике тыла дивизии, решительно и грузно шагая по битому стеклу к вокзалу. – Под суд, сукиных сынов, мало! Под суд! Обоих!»

Возле станции уже стали появляться люди: навстречу бежали солдаты с потными серыми лицами, танкисты в запорошенных пылью шлемах, в грязных комбинезонах. Все подавленно озирали дымный горизонт, щуплый и низенький танкист-лейтенант, ненужно хватаясь за кобуру, метался меж ними по платформе, орал срывающимся голосом:

– Тащи бревна! К танкам! К танкам!..

И, наткнувшись растерянным взглядом на Гуляева, не вытянулся, не козырнул, только покривился тонким ртом.

Впереди, метрах в пятидесяти от перрона, под прикрытием каменных стен чудом уцелевшего вокзала стояла группа офицеров, доносились приглушенные голоса. В середине этой толпы на голову выделялся своим высоким ростом командир дивизии Иверзев, молодой, румяный полковник, в распахнутом стального цвета плаще, с новыми полевыми погонами. Одна щека его была краснее другой, синие глаза источали холодное презрение и злость.

– Вы погубили все! Па-адлец! Вы понимаете, что вы наделали? В-вы!.. Пон-нимаете?..

Он коротко, неловко поднял руку, и у стоявшего возле человека, как от

ожидания удара, невольно вскинулась кверху голова, – и тогда полковник Гуляев увидел белое, дрожавшее дряблыми складками лицо пожилого майора, начальника тыла дивизии, его опухшие от бессонной ночи веки, седые взлохмаченные волосы. Бросились в глаза неопрятный, мешковатый китель, висевший на округлых плечах, нечистый подворотничок, грязь, прилипшая к помятому майорскому погону, запасник, по-видимому, работавший до войны хозяйственником, «папаша и дачник»... Втянув голову в плечи, начальник тыла дивизии виновато и молча смотрел Иверзеву в грудь.

– Почему не разгрузили эшелон? Вы понимаете, что вы наделали? Чем дивизия будет стрелять по немцам? Почему не разгрузили? Поч-чему?..

– Товарищ полковник... Я не успел...

– Ма-алчите! Немцы успели!

Иверзев шагнул к майору, и тот снова вскинул широкий мягкий подбородок, уголки губ его мелко задергались, будто он хотел заплакать; офицеры, стоявшие рядом, отводили глаза.

В ближних вагонах рвались снаряды; один, видимо бронебойный, жестко фырча, врезался в каменную боковую стену вокзала. Посыпалась штукатурка, кусками полетела к ногам офицеров. Но никто не двинулся с места, не пригнулся, лишь поглядели на Иверзева: плотный румянец залил его другую щеку.

– Под суд! – низким голосом выговорил Иверзев. – Я отдам вас под суд! Полковник Гуляев, подойдите ко мне!

Гуляев, оправляя китель, подошел с готовностью; но этот несдержанный гнев командира дивизии, это усталое, измученное лицо начальника тыла сейчас уже неприятно было видеть ему. Он недовольно нахмурился, косясь на пылающие вагоны, проговорил глухим голосом:

– Пока мы не потеряли все, товарищ полковник, необходимо расцепить и рассредоточить вагоны. Где же вы были, любезный? – невольно поддаваясь презрительному тону Иверзева, обратился Гуляев к начальнику тыла дивизии, оглядывая его с тем болезненно-сострадательным выражением, с каким глядят на мучимое животное.

Майор, безучастно опустив голову, молчал; седые слипшиеся волосы его топорщились у висков неопрятными косичками.

– Действуйте! Дей-ствуй-те! Что вы стоите? В-вы, растяпа тыла! – крикнул Иверзев бешеным шепотом. – Бегом! Все делать бегом! Марш! Товарищи офицеры, всем за работу! Полковник Гуляев, разгрузка боеприпасов под вашу ответственность!

– Слушаюсь, – ответил Гуляев.

Иверзев услышал глуховатый голос Гуляева и, хотя понимал, что это «слушаюсь» еще ничего не решает, все же, сдерживая себя, перевел внимание на коменданта станции – сухощавого, узкоплечего подполковника, замкнуто и нервно кутившего возле ограды вокзала, – и добавил тише:

– А вы, товарищ подполковник, ответите перед командующим армией за все сразу! За все!..

Подполковник не ответил, и, не ожидая ответа, Иверзев повернулся – офицеры расступились перед ним – и стремительно, крупными шагами пошел к «виллису» в сопровождении молоденького, тоже как бы рассерженного адъютанта, щеголевато затянутого в новые ремни.

«Уедет в дивизию», – подумал Гуляев без осуждения, но с некоторой неприязнью, потому что по опыту своей долгой службы в армии хорошо знал, что в любых обстоятельствах высшее начальство вольно возлагать ответственность на подчиненных офицеров. Он знал это и по самому себе и поэтому не осуждал Иверзева. Но неприязнь объяснялась главным образом тем, что Иверзев назначил ответственным именно его, безотказного работягу фронта, как он иногда называл себя, а не кого другого.

– Товарищи офицеры, прошу ко мне!

Гуляев лишь сейчас близко увидел коменданта станции; лицо коменданта, меловая бледность, его вздрагивающие худые пальцы, державшие сигарету, ясно объяснили ему, что этот человек только что пережил. «Отдадут под суд. И за дело», – подумал Гуляев без жалости и сухо кивнул подполковнику, встретив ищущий его взгляд.

– Ну, будем действовать? Так, что ли, комендант?

Когда несколько минут спустя комендант станции и Гуляев отдали все распоряжения офицерам, и к горящим составам, зашипев паром, подкатил маневровый паровозик с перепуганно высунувшимся машинистом, и тяжелые танки стали, глухо ревя, сползать с тлеющих платформ, тогда к полковнику, кашляя, перхая, моргая слезящимися от дыма глазами, подбежал начальник тыла дивизии, затряс седой головой: он задыхался.

– Боеприпасы одним паровозом мы не спасем! Погубим паровоз, людей, товарищ полковник!..

– Эх, братец вы мой, – досадливо поморщился Гуляев. – Разве вам в армии служить? Где ж вы фуражку потеряли?

Майор скорбно улыбнулся, его опущенные руки жалко теребили полы помятого кителя.

– Я постараюсь... Я все, что смогу... – заговорил он умоляющим голосом. – Комендант сообщил: прибыл эшелон. Из Зайцева. Стоит за

семафором. Я сейчас за паровозом. Разрешите?

– Мигом! – скомандовал Гуляев. – Одна нога здесь... И, ради бога, не козырьйте. Как корягу, руку подносите, черт бы драл! И без фуражки!..

Майор отдернул руку, как обожженную, сконфуженно попятился и потом побежал к перрону, рыхло колыхая спиной, неуклюже подпрыгивая, наталкиваясь на танкистов; они раздраженно матерились. Его мешковатый китель, взлохмаченная голова мелькнули в последний раз в конце перрона, исчезли в сизо-оранжевом дыму возле крайних вагонов, где с треском, визгом осколков лопались снаряды.

– Жорка! А ну, за майором! Помоги! А то носит его... видишь? За смертью гоняется! – сказал Гуляев.

Жорка ухмыльнулся, ответил небрежно:

– Есть, – и двинулся за майором своей цепкой скользящей походкой.

Полковник Гуляев стоял около вокзала, глядел на пылающие вагоны со вздыбленными крышами, понимал, что все здесь, охваченное огнем, могло спасти только чудо. Он думал о том, что этот пожар, уничтожающий боеприпасы и снаряжения не только для истощенной в боях дивизии, но и для армии, оголял его полк, батальоны которого подтянулись к Днепру в течение прошлой ночи. И как бы умны ни были сейчас распоряжения Гуляева, как бы ни кричал он, ни взвинчивал людей, – все это теперь не спасало положения, не решало дела.

Он видел, как, убегая в дым и вновь выныривая в просветах пожара, маневровый паровозик, свистя, носился по путям с прилипшим к буферу сцепщиком, разъединял искореженные осколками вагоны, оглушая лязгом железа, толкал их в тупики. Танки обрушивались через края платформы на бревна, скатывались на землю; недовольно ревя, как обожженные звери, уползали к лесу; он начинался тут же за станционным зданием.

Мимо вокзала пробежал высокий танкист-подполковник, брови подпалены, лицо озлобленное, все в темных полосах гари; он не заметил Гуляева.

– Подполковник! – зычно окликнул Гуляев, чуть подбирая полнеющий живот, как делал это всегда, готовый отдать приказ.

– Что вам? – Танкист остановился, воспаленные веки сузились. – Я слушаю!

– Сколько танков вышло из строя?

– Не подсчитано!

– Вот что! Освободятся люди, пошлите их на расцепку вагонов! Сейчас придет еще паровоз...

– Я людьми швыряться не намерен, товарищ полковник! Воевать без

людей буду?

– А как же будет воевать дивизия? А? Вся дивизия? – спросил Гуляев, чувствуя, что снова сбивается на тон Иверзева, и раздражаясь на себя за это.

У танкиста собрались в одну линию почерневшие губы; он ответил твердо:

– Не могу! Я отвечаю за своих людей, полковник!

В ближайшем вагоне с грохотом взорвалось несколько снарядов, взметнулась крыша, дохнуло обжигающим жаром, запахом тола. Лицам стало горячо. На мгновение оба отвернулись, их заволокло дымом; танкист закашлялся.

– Товарищ полковник, разрешите обратиться? – послышался в эту минуту за спиной Гуляева насмешливый голос.

– По-до-жди-те! Подождите! – холодно, не оборачиваясь, проговорил Гуляев, упорно глядя на кашляющего подполковника-танкиста, и добавил уже жестко: – Я потребую... потребую выполнения!

– Товарищ полковник, разрешите обратиться?

– Кто еще тут? Что угодно? – Гуляев, поморщась, круто повернулся и тотчас, не понимая, удивленно и громко воскликнул: – Капитан Ермаков? Борис? Откуда тебя черти принесли?..

– Здорово, полковник Гуляев!

Среднего роста капитан в летней выгоревшей гимнастерке с темными следами от портупей стоял возле. Талия узко перетянута ремнем, тень от козырька падала на половину смуглого лица, карие, почти черные глаза, белые зубы блестели в обрадованной улыбке.

– Ну, здорово, полковник! – оживленно повторил он. – Что, не верите? Доложить, что ли?

– Да откуда тебя черти принесли? – проговорил, затоптавшись, Гуляев, сначала сурово нахмурился, потом засмеялся, грубовато стиснул капитана в объятиях и сейчас же отстранил его, засопев, косясь назад.

– Идите, – буркнул он танкисту. – Идите.

– Дайте жрать, полковник! Толком четыре дня не ел! – сказал капитан, улыбаясь. – И сутки без дымового довольствия!..

– Да откуда ты?.. Докладывай!

– Из госпиталя. Ждали в пути, когда кончится у вас тут. Потом появляется Жорка с майором, ну и... прикатили на паровозе.

– Легкомыслие? Шутишь все? – пробормотал Гуляев, всматриваясь в заштопанный рукав капитанской гимнастерки, и густо побагровел. – Не писал из госпиталя, хинная ты душа! А? Молчал, ухарь-купец!

– Я хочу не есть, а жрать! – ответил капитан, смеясь. – Дайте хоть сухарь! Водки не прошу!

– Жорка! – крикнул полковник. – Проведи капитана Ермакова к машине!

Жорка, до этого скромно стоявший в стороне, просветлел лицом, заговорщицки подмигнул капитану голубым невинным глазом:

– Тут в лесу. Недалеко.

Все, что можно было сделать в создавшихся обстоятельствах, было сделано. Устало догорали загнанные в тупики вагоны; с последним, как бы неохотным треском запоздало рвались снаряды. Пожар утих. И только теперь стало видно, что стоял теплый, погожий день припозднившегося бабьего лета. Чистое сияющее небо со стеклянно высокой синевой развернулось над лесной станцией. И только на западе почти неуловимо светились в бездонной его глубине беззвучные зенитные разрывы.

Порыжевшие, тронутые осенью приднепровские леса, окружавшие черное пепелище путей, стали видны, как в бинокль.

Полковник Гуляев, потный, разомлевший, не без наслаждения скинув горячие сапоги с усталых ног, подставив ноги солнцу и расстегнув китель, так что видна была волосатая, пухлая грудь, лежал в станционном садике под облетевшей яблоней. Здесь все по-осеннему поблекло, поредело, везде неяркий блеск солнца, везде хрупкая прозрачная тишина, вокруг легкий шорох палых листьев, чуть-чуть тянуло свежим воздухом с севера.

Капитан Ермаков лежал рядом, тоже без сапог, без ремня и фуражки. Полковник, хмурясь, сбоку рассматривал его исхудалое, побледневшее лицо, прямые брови, – черные волосы упали на висок, шевелились от ветра.

– Та-ак, – проговорил Гуляев. – Значит, раньше времени прибежал? Что, не терпелось, терпежу не было?

Борис вертел опавший желтый яблоневый лист, задумчиво улыбаясь, внимательно щурился на него.

– Променять госпитальную койку вот на это... стоило, честное слово, – ответил он, сдунул лист с ладони, затем спросил полусерьезно: – Вы что-то, полковник, растолстели? В обороне стоите?

– Ты мне не вкручивай, – недовольно перебил Гуляев. – Я спрашиваю, почему прибежал?

Борис потянулся к яблоне, сорвал голую веточку, опять внимательно осмотрел ее, сказал:

– Вот, оторвал эту ветку – и она погибла. Верно? Ну ладно, оставим

лирику. Как там моя батарея, жива?

Он, слегка усмехнувшись, взглянул на полковника, повторил:

– Жива?

– Твоя батарея ночью форсировала Днепр. Ясно? – Гуляев, сопя, повернулся, поерзал животом по желтой траве, по сухим листьям, раздраженно спросил: – Ну, еще вопросы?

– Кто командует батареей?

– Кондратьев.

– Это хорошо.

– Что хорошо?

– Кондратьев.

– Вот что, – грубовато и решительно проговорил Гуляев, – хочу предупредить тебя, и без шуток, дорогой мой. Будешь грудью по-дурацки, по-ослиному пули ловить, храбрость показывать – к чертовой бабушке спишу в запасной полк! И баста! Спишу – и баста!

– Ясно, – сказал Борис.

– Убьют дурака. Что?

– Ясно, – кивнул Борис. – Все ясно.

Обветренное, крупное, заметное покатым морщинистым лбом, лицо полковника медленно отпускало с себя выражение недовольства, нечто похожее на улыбку слабо тронуло его губы, и он проговорил с грустным весельем:

– Оторванная ветка! Ска-жит-те! Философ, пороть тебя некому!

Лежа на спине, Борис по-прежнему задумчиво глядел в холодноватую синеву неба, и Гуляев подумал, что этому молодому, здоровому офицеру мало дела до его слов, до откровенного беспокойства, не предусмотренного никаким уставом, – они знали друг друга со Сталинграда. Был полковник одинок, вдов, бездетен, и он как бы видел в Ермакове свою молодость и многое прощал ему, как многое прощал и себе в те годы, как это иногда бывает у немало поживших и не совсем счастливых одиноких людей.

Долго лежали молча. Пустой, перепутанный паутиной садик был насквозь пронизан золотистым солнцем. В теплом воздухе планировали листья, бесшумно стучаясь о ветви, цепляясь за паутину на яблонях. В тишину долетало отдаленное гудение танков из леса, тонкое шипение маневрового паровозика на путях: отзвуки жизни.

Сухой лист упал полковнику на плечо. Он медлительно смял его в кулаке, скосил глаза на Бориса.

– Прорывать оборону будем. Крепкий орешек на правом берегу. Что молчишь?

– Так, думаю. И сам не знаю о чем, – сказал Борис.

Со стороны вокзала, приближаясь, послышались голоса, показавшиеся странными здесь, – женские голоса, звучные и будто стеклянные в тихом воздухе полуоблетевшего сада. Полковник Гуляев, неловко повернув обожженную шею, крикнул от боли, удивленно оглядываясь, спросил:

– Это что же такое?

По тропинке от вокзала через сад двигались две женщины, несли огромный сундук, переплетенный веревками. Одна, молодая, гибкая, босоногая, в выцветшей блузке, небрежно заправленной в юбку, косынка надвинута на тонкие брови, шла изогнувшись, напрягая крепкие икры; другая – в мужской поношенной телогрейке, в сапогах, смуглое лицо изможденно, потно, волосы растрепались, и солнце, бывшее сзади, просвечивало их.

– Далеко ли, красавицы бабоньки? – крикнул Гуляев и, кряхтя, сел, медленно потирая колени.

Женщины опустили сундук. Молодая выпрямилась, нестеснительно оглядела грузноватую фигуру Гуляева, игриво-дерзким взглядом скользнула по лицу Бориса и вдруг фыркнула, засмеялась.

– Помогли бы, товарищ полковник, вещи у нас больно тяжелые! Серьезно...

Борис спросил с явным интересом:

– А вы что же, недалеко здесь живете? Вы здешние?

Молодая заулыбалась, выставив грудь, ловкими пальцами поправляя косынку, а та, постарше, что в телогрейке, низко опустив лицо, смутилась, смугло покраснела. Молодая бойко сказала:

– Мы рядом тут. В лесу село... Одни мы! Просто одни. Помогли бы, а?

– Пойдем? – полувопросительно сказал Борис. – А, товарищ полковник?

– Да ты что? – свирепым шепотом остановил его Гуляев, протестуяще замахав крупной рукой. – Не в форме мы, красавицы, босиком, видите? Наше дело военное, бабоньки, некогда нам! Идите, идите!

Немного спустя, когда женщины скрылись в глубине сада, полковник, наморщив озабоченно лоб, заторопился, стал натягивать шерстяные носки, говоря:

– Ну все. Поехали. Хватит.

Борис шутливо сказал ему:

– А может быть, пойдем? Надо бы помочь.

– Да ты что? – Гуляев, побагровев, встал, ожесточенно вбил ногу в узкий сапог, резко одернул на животе китель. – Нечего нам тут. Пошли.

Залежались. Дел по горло!

Косматое нежаркое солнце садилось в леса.

Глава вторая

Ночь застала их в дороге, холодная, звездная октябрьская ночь. Шумом, движением, людскими голосами была наполнена лесная темнота. Жорка изредка включал фары, и в белом коридоре их то мелькала оскаленная, скошенная на свет морда лошади, то заляпанный грязью борт грузовика, то кухня, разбрызгивающая по дороге раскаленные угли, то щит орудия и нахохленные спины ездовых, то серые, непроспанные лица солдат. Все это шло, двигалось, ехало, копошилось, скакало во тьме туда, где за лесами тек Днепр.

– Гаси! Гаси фары, дьявол! – метнулся от подпрыгивающей впереди повозки крик, мимо скользнуло белое лицо ездового, и по борту «виллиса» жестяно хлестнул кнут.

– Надо бы через спину тебя протянуть, – ворчливо пробормотал в сторону Жорки полковник. – А ну, гаси. И перестань жевать, ну?

Хмуро вобрав голову в плечи, Гуляев смотрел сквозь ветровое стекло на дорогу; Жорка лениво грыз сухарь, одной рукой держал баранку, изредка поглядывал вверх, где текло мерцающее холодное небо.

– Вот бродяги! – сказал он, жуя, и спрятал сухарь в карман. – Гляньте-ка, товарищ полковник, опять фонари развесили.

В небе распускался сумрачный желтый свет: четыре осветительные бомбы, роняя искры, высоко висели над лесами среди звезд. Они медленно летели, косо и тихо опускаясь. Вверху выступили из темноты, четко прорезались оголенные вершины деревьев. Лес сразу ожил, черные тени деревьев поползли, задвигались на дороге, мешаясь с тенями людей, машин, повозок; впереди ожесточенно взревели танки, кто-то зычно подал команду из глубины колонны:

– Сто-ой!

Жорка вопросительно поднял одну бровь; полковник пробормотал в воротник:

– Объезжай.

«Виллис» обогнул колонну машин, тесно сгрудившиеся повозки, орудия, понесся впритирку к лесу, ветви захлестали, забили по бортам, по стеклу, упруго подбрасывало на корневищах. Деревья расступились, стало по-дневному светло. Над головой, разгораясь, плыли «фонари». Впереди с громом рванулось двойное пламя, и в лесу ахнуло, загремело, как в пустых коридорах.

– Куда? Куда под бомбы прешь? Не видишь? – закричал кто-то отчаянным голосом, и человеческая фигура метнулась перед радиатором. – Ку-уда?..

– Стоп! – скомандовал Гуляев, заноса вон из машины ногу.

«Виллис» круто затормозил, и Борис ударился бы о спинку переднего сиденья, если бы не спружинил руками. Полковник вылез, пошел вперед. На дороге чернела, тускло освещенная «фонарями», колонна танков; моторы работали, стреляя резкими выхлопами, танки двигались толчками к матово блестящей воде. Там, в проходе, образованном съехавшими к обочине повозками и кухнями, они с гулом вползали на качающийся понтонный мост.

– Днепр? – быстро спросил Борис, наклоняясь к уху Жорки,

– Не-е, рукав... Днепр дальше, – ответил Жорка, поглядывая на небо. – Почуяли, бродяги, все время тут долбят... Во кинул, бродяга. Слышите – поросята завизжали?..

Заглушая гул танковых моторов, крики у переправы, ржанье лошадей, новые пронзительные, рвущие воздух звуки возникли в небе. Небо обрушилось: ослепляя, брызнули шипящие кометы, полыхнули огнем в глаза; «виллис» резкой силой толкнуло назад. Борис, испытывая холодно-щекочущее чувство опасности, притупившееся в госпитале, смотрел на разрывы. Потом увидел в хаосе рвущихся вспышек вопросительно повернутое лицо Жорки; сквозь грохот прорвался его голос:

– Ложи-ись, товарищ капитан! Пикирует!

Борис, возбужденный, с сжавшимся сердцем – отвык, отвык! – делая размеренные движения, вылез из машины и, чувствуя глупость того, что делает, заставил себя не лечь, а стоять, наблюдая за дорогой.

В ту же минуту он поднял голову: нарастающий рев мотора стал давить на уши. С белесого неба стремительно падала на переправу тяжелая тень, оскаливаясь пулеметными вспышками. И Борис поспешно лег возле машины. Малиновые короткие молнии, будто подымая ветер, отвесно неслись вдоль колонны. Упала, забилась в оглоблях, заржала лошадь. «О-ох, о-ох», – послышалось из леса; что-то зашлепало по мокрому песку возле головы Бориса. И он непроизвольно нащупал и отбросил горячую крупнокалиберную гильзу.

В глубине леса гулко и запоздало застучали скорострельные зенитные орудия. Трассы вслепую рассыпались в небе, все мимо, мимо низкого тяжелого силуэта самолета. Гул его удалялся. Зенитки смолкли. Стало тихо. «Фонари» опустились к самой воде. И было слышно, как по ту сторону рукава отдаленно рокотали танки. Они переправились во время бомбежки.

Борис поднялся с земли, разозленный и неприятно подавленный тем, что чувство страха оказалось сильнее его, отряхнул мокрый налипший песок с коленей, подумал: «Разнежился. Все. Конец. Прежняя жизнь начинается».

– Из санроты! Где санрота? Санитары! – донесся крик из колонны, и она зашевелилась, задвигались фигуры меж повозок и машин.

– Жорка! – раздался голос полковника. – Все целы?

– Целы, целы. Поехали, – ответил Борис преувеличенно спокойно.

«Виллис» снова понесся по дороге к близкому Днепру.

Борис смотрел на мелькающие стволы берез, на темную нескончаемую колонну; сырой ветер обливал холодом потную от возбуждения шею, еще не проходило раздражение на самого себя после только что пережитого страха: он не любил себя такого.

Так же, как большинство на войне, Борис боялся случайной смерти: смерть в нескольких километрах от фронта всегда казалась ему такой же унизительно-глупой, как гибель человека на передовой, вылезшего с расстегнутым ремнем из окопа по своей нужде.

– Началось наше, – сказал Жорка, снова осторожно захрустел сухарем и включил на мгновение фары. Вспыхнув, они скользнули по борту буксующего на дороге «студебеккера», осветили маслено заблестевшую пехотную кухню в кустах, толпу солдат с котелками, потом на перекрестке дорог выхватили на стволе сосны деревянную табличку-указатель: «Хозяйство Гуляева». Эта стрела показывала влево. Другая прямо – «Днепр». Машины, повозки и люди текли туда через лес, неясный зеленый свет загорался и гас там над вершинами деревьев.

Полковник Гуляев кивнул:

– Давай в хозяйство.

– Жорка, останови! – громко сказал Борис.

– Что такое?

«Виллис» остановился. Жорка перестал жевать. Ветер сразу упал. Был слышен буксующий вой «студебеккера», скрип колес, фыркание лошадей, голоса. Борис молча спрыгнул на дорогу, потянул из машины планшетку.

– В батарею? – устало спросил полковник Гуляев и повторил: – В батарею? Так вот что. Там тебе уже делать нечего. Н-да! Кондратьев там. Артиллерии в дивизии много. Найдем место. Не торопись. Была бы шея, а хомут...

– Может, в адъютанты возьмете, полковник? – усмехнулся Борис. – Или в комендантский взвод?

Не отвечая на вопрос, Гуляев поерзал, тяжело засопел.

– А! Некогда мне тут с тобой антимонии разводить! Некогда! – Гуляев

вдруг с силой толкнул Жорку локтем. – Поехали! Спишь? Гони, гони! Что смотришь?

Бориса обдало теплым запахом бензина, махнуло по лицу ветром, темный силуэт «виллиса» запрыгал в глубине лесной дороги, исчез.

Глава третья

Серии ракет всплывали над Днепром на той стороне; черная вода тускло поблескивала возле берега. Свет ракет опадал клочьями мертвого огня, и тогда отчетливо стучали крупнокалиберные пулеметы. Трассирующие пули веером летели через все пространство реки, вонзались в мокрый песок острова, тюкали в сосны, вспыхивая синими огоньками. Это были разрывные пули. Срезанные ветви сыпались на головы солдат, на повозки, на котлы кухонь.

По несколько раз подряд на той стороне скрипуче «играли» шестиствольные минометы. Все небо расцвечивалось огненными хвостами мин. С тяжким звоном, сотрясая землю, рвались они, засыпая мелкие, зыбкие песчаные окопчики. Немцы били по всему острову – на звук голосов, на случайную вспышку зажигалки, на шум грузовиков. А остров кишел людьми.

Ночью стало холодно, сыро и ветрено. Сосны по-осеннему тягуче гудели в темноте, от воды вместе с ветром приносило тошнотворный запах разлагающихся трупов – их прибывало течением.

Но там, возле воды, были и живые люди – постукивал топор, доносились голоса, кто-то ругался грубо, сиплый тенор, не сдерживая душу, костерил кого-то:

– Ты чего сигарки жуешь, а? Ты сколько раз собрался умирать, растяпа! А ну, бросай!..

И было видно, как при взлете ракет черные силуэты саперов падали в воду, на песок; прекращался стук топора. Изредка тот же сиплый тенор, поминая бога и мать, звал санитаря, потом кого-то уносили на плащ-палатке, спотыкаясь о воронки.

А метрах в ста пятидесяти от берега, в воронке от бомбы, прикрытый брезентом, тлел костерок из снарядных ящиков. Было дымно здесь, пахло паром сырых шинелей.

Протянув разомлевшие ноги к жидкому огоньку, вокруг сидело и лежало несколько солдат-артиллеристов. Все молчали, дремотно поглядывали на наводчика Елютина. Елютин же, спокойно вытянувшись на снарядных ящиках, задумчиво копался перочинным ножом в разобранных ручных часах.

Сержант Кравчук, крепколицый смуглый парень лет двадцати пяти, помял над огнем высохшую портянку, принял строгий вид и, держа ногу на

весу, начал обматывать ее. Потом замер, покосился через плечо.

– Кто это там на голову сел? – сурово поинтересовался он. – Глаза где?

– Лузанчиков вроде, – сказал телефонист Грачев, испуганно разлепляя глаза, и сонно подул в трубку. – Как там, как там? Танки? Мы знаем...

Кравчук шевельнул плечами, медленно повернулся. Подносчик снарядов Лузанчиков, худенький, сжавшись всей мальчишеской фигуркой, привалясь к его плечу, спал, охватив колени, тонкие до жалости руки подрагивали в ознобе; по его бледному, заострившемуся лицу беспокойно бродили тени – отблески мутного сна. Кравчук угрюмо сказал:

– Беда с мальцами. Просто детские ясли.

– А? – спросил во сне Лузанчиков тонким голосом.

Кравчук, подумав, неуверенно приподнялся, потянул из-под себя плащ-палатку и с недовольным видом накинул ее на плечи Лузанчикова. Тот, не открывая глаз, дрожа веками, закутался в нее, по-детски всхлипнув, подобрал ноги калачиком.

– Н-да-а, чуток не захлебнулся, – сказал Кравчук, наматывая портянку. – Плавать не умеет. Намучаешься с ним.

Замковый Деревянко, весь черный, как жук, ехидно крикнул, сделал вспоминающее лицо, и тотчас все повернули к нему головы.

– На Волге до войны катер ходил осводовский. И в рупор без конца орали: «Граждане купающие, по причине общего утонутия, просьба не заплывать на середину реки!» Тут тебе, Кравчук, в рупор не заорут. Можно быть вумным, как вутка, а плавать, как вутюг! Ты сам за бревно двумя руками держался!

– Хватит молотить! – оборвал его Кравчук. – Смехи все!

Деревянко вздохнул, сожалеюще заглянул в котелок.

– Какой смех! Второй раз на голодный желудок будем переправляться, не до смеху! Где старшина? Я б его пустым котелком разочков пять по загривку съездил. Аж звон пошел бы. Как на передовую – его нет!

– Ладно, разберемся, – ответил Кравчук, вставая.

В это время Елютин поднял голову, прислушался и сказал:

– Летят.

Где-то вверху, над брезентом, вырос давящий шорох – шу-шу-шшу-у, – перерастая в тяжелый рев, и близкие разрывы потрясли воронку, подкинуло костер, ящики. Брезент взметнулся над краем воронки, и сюда, к костру, горячо дохнув, ворвалась ночь. Кравчук опытно пригнулся. Елютин быстро рукой накрыл часы, словно птицу поймал ладонью. Деревянко заинтересованно крутил в руках пустой котелок. Откинув плащ-палатку, Лузанчиков испуганно сел, поводя круглыми, непонимающими глазами.

– Бомбят? – растерянно спросил он. – Бомбят? Да?

– Дальнобойная дура щупает, – ответил Кравчук, рванул брезент на воронку. – По квадратам бьет.

Стало тихо. С тонким свистом над брезентом запоздало пролетел обессиленный осколок, тяжело и мокро шлепнулся в песок.

Тут, шурша ботинками по песку, в воронку скатился огромный солдат, в короткой не по росту шинели, автомат висел на груди. Его широкое самоуверенное лицо, блестящие небольшие глаза, незажженная самокрутка в зубах озарились отблесками костра. Он потер красные руки, весело, бедово глянул на Елютина, на нахмуренного Кравчука, присел на корточки к огню.

– Греемся, братцы славяне? Дай-ка за пазуху трошки угольков. Тебя, Кравчук, к комбату. И от Шурочки привет!

На щеках Кравчука зацвел смуглый румянец.

– Ты чего развеселился? – с ленивой суровостью спросил он. – Почему с поста ушел, Бобков, что, у бабки на печке?

– Если б на печке – кто бы отказался?

Бобков выхватил уголек из огня, перекатывая его на ладони, прикурил, сосредоточенно почмокал губами.

– Старший лейтенант говорит: иди, мол, отдохни, я все равно тут. На снарядах с Шурочкой сидят. Вроде мечтают.

Кравчук сердито посмотрел на него, откинул брезент и выкарабкался по скату воронки наружу, в холодную, сырую тьму.

Ветер шумел, топтался в кронах сосен. Дуло студено с Днепра. Там по-прежнему, распарывая потемки, взмывали ракеты, освещая черную воду и черное небо.

Поеживаясь от холода (у костра разморило), Кравчук поглядел на красные стаи пуль, которые, обгоняя друг друга, неслись к острову, осуждающе нахмурясь, послушал гудение машин, скрип повозок по песку, голоса в темноте, пошел, натываясь на корневища.

– Старший лейтенант! – вполголоса позвал он, ничего не видя в плотной черноте осенней ночи.

Впереди слышалось покашливание, потом отозвался мягко картавящий, спокойный голос:

– Вы, Кравчук?

– Я.

– Садитесь сюда. Склера я послал искать старшину. Исчез куда-то старшинка. Кухни до сих пор нет.

– Тут ведь стреляют, – насмешливо произнес в темноте женский голос.

Кравчук огляделся. На снарядных ящиках, подняв воротник шинели, сидел старший лейтенант Кондратьев; возле, почти сливаясь с ним, – батарейный санинструктор Шурочка. Когда Кравчук сел, она не отодвинулась от комбата. Он сам чуть отстранился, простуженно спросил:

– Как там?

– Что же вы к костерку-то не идете, товарищ старший лейтенант? – Кравчук неодобрительно покосился на освещенное ракетой бледное лицо Шурочки, добавил: – Кашляете... А шинель мокрая небось...

– Все обсушились? – отозвался Кондратьев. – Как Лузанчиков?

– Озяб. Опомниться не может.

– Что от Сухоплюева?

– Танки, говорят, там ходят.

– Это мы и отсюда слышим, – по-прежнему насмешливо сказала Шурочка, точно мстя Кравчуку за его осуждающий взгляд.

– Да, это я отсюда слышу, – повторил Кондратьев задумчиво. – Гудят.

И в это время с того берега ударили танки. Разрывы на кромке острова осветили черные, склоненные фигуры саперов.

– Вот они... Прямой наводкой, – сказал Кравчук. – В обороне врыты. Ну, зацепился он тут. Что ж, опять купаться будем, товарищ старший лейтенант?

Он спросил это без улыбки, без намека на шутку – Кравчук не умел шутить – и долго глядел на тот берег, ожидая, что скажет Кондратьев. Тот молчал, молчала и Шурочка, и, понимая это молчание по-своему, Кравчук подумал, что до его прихода был между ними иной разговор. Он осуждал командира батареи; но с особенной неприязнью судил он вызывающую эту Шурочку, которая открыто льнула к Кондратьеву. Он осуждал ее ревниво и хмуро, потому что хорошо знал о прежних отношениях ее и капитана Ермакова. Кравчук недолго любил Кондратьева за его странную манеру отдавать приказания: «прошу вас», «не забудьте», «спасибо» – и порой с чувством неудовольствия и удивления вспоминал те времена, когда капитан Ермаков перед всей батареей называл старшего лейтенанта умницей.

После того как капитан Ермаков отбыл в госпиталь и место его занял командир первого взвода Кондратьев, санинструктор Шурочка стала властно, на виду всей батареи, брать его в руки, командовать им, и Кравчука оскорбляло это бабье вмешательство. До этого он пытался защищать Шурочку: тонкая, с высокой грудью, в ладной, всегда чистой гимнастерке, в хромовых сапожках, она вызывала в нем трудную тоску по женской ласке, но когда теперь Деревянко едко говорил, что Шурочка из тех, кто вечером ляжет на одном конце блиндажа, а утром проснется на

другом, Кравчук не останавливал его, как прежде.

– Так как же, товарищ старший лейтенант? – переспросил Кравчук, в темноте чувствуя на себе взгляд Шурочки. – Снова купаться будем?

Помолчав, Кондратьев ответил тихо:

– Вряд ли все переправимся нынче ночью. Только что я разговаривал с саперным капитаном. Ругается на чем свет стоит, – восемь человек у него за два часа выкосило. Пойдемте. Посмотрим, как там...

Он встал, и Кравчук увидел в мерцании ракет его невысокую, чуть-чуть сутуловатую фигуру в мешковатой шинели с нелепо поднятым воротником.

«Экий слабак, искупался в Днепре – простуду схватил», – неодобрительно подумал никогда в жизни не болевший Кравчук. Шурочка тоже поднялась, гибко, бесшумно, только сапожки скрипнули. Сказала властно:

– Старший лейтенант Кондратьев!

– Что, Шурочка?

– С вашим бронхитом не советую лазить в воду. Вам у костра погреться надо. Портянки просушить. Шинель. Выпить водки с аспирином.

– Что же делать, Шурочка? – виновато ответил Кондратьев. – Старшины нет... Водки нет.

«Что ты, умная такая, раньше обо всем этом молчала?» – сообразил Кравчук и, сдерживая злость, сказал:

– На войне нет бронхита.

Кондратьев смущенно проговорил:

– Да, да, конечно. Идемте, Кравчук.

– Ну что же, пойдем! – твердо сказала Шурочка, как будто Кондратьев обращался к ней. И все время, пока шли в темноте меж сосен, пока шагали по острову к берегу, Кравчук неотступно слышал позади тонкий, решительный скрип песка под Шурочкиными сапогами, думал: «Экая сатана бабенка, ничего не боится, закрутит Кондратьеву голову. И кто это выдумал женщин на войне держать! Одна беда, неразбериха, тоска от них!»

Остановились на берегу, в сырой тьме, пронизываемые ветром. С явным недоверием прислушались к короткому затишью на той стороне, – странно молчали пулеметы в непроницаемо сгустившейся ночи. Из темноты веяло сладковатой гнильцой трупов.

– Вот, – прошептал Кравчук. – Притихли...

– Ужин, – ответил Кондратьев, сдерживая кашель. – Немцы пунктуальны...

Потом донесся тяжелый стук топора, голоса у самой воды, отрывистые

команды: «Шевелись! По-быстрому!» Там, внизу, двигались саперы вокруг смутного пятна парома, и Кондратьев окликнул:

– Капитан, капитан!

– Кто там? Эй! Кто там? – отозвался из потемок прокуренный начальственный баритон. – Слуцкий, что ли? Давай сюда!

Кондратьев не успел ответить. Над Днепром с шипением повисли гроздья ракет, заработали пулеметы, смешались зеленые и белые светулы в небе, смешались трассы, конусом несясь к парому, и весь берег, паром, фигурки саперов озарились, проступили из ночи, как на желтом листе бумаги. Гулко, сдваивая, ударили танки. Слева возник широкий дымящийся синий столб, скользнул по берегу и уперся в какую-то лодчонку, возле которой мигом рассыпались люди.

– Ложись!

Они упали на мокрый песок, в свежую щепку возле самого парома, над головой мелькали трассирующие пули, Шурочка упала рядом с Кравчуком.

– Разрывные, – пояснил Кравчук и увидел: к лежавшему впереди Кондратьеву подползает от парома человек в офицерской фуражке.

– Кто такие? – спросил, преодолевая одышку, начальственный баритон.

– Как дела с паромом? – ответил Кондратьев.

– А вы не видите? Ей-богу! Ходите, демаскируете. Людей у меня косит. Дайте солдат. Человек пять-шесть. И дуйте отсюда.

– Сколько нужно людей?

– Десять человек.

– Много просите, – мягко возразил Кондратьев, и Кравчук, услышав, подумал облегченно: «Вроде правильно...»

– Ну, давай, давай отсюда, артиллеристы... Видишь, прожектора появились... Давай! Не демаскируй!

Они ползком выбрались из района саперов, встали и молча двинулись в глубь острова. Кондратьев покашливал. Шурочка шла рядом с ним. Кравчук спросил:

– Кого пошлем?

– Подумаем, – невнятно ответил Кондратьев.

Впереди послышалось фыркание лошади, легкий металлический звук; под деревьями, низко над землей, затлели угольки, дохнуло теплым запахом подгоревшей пшенной каши.

– Кто идет? – раздался негромкий полувеселый окрик.

– Это вы, Скляр? – сдерживая кашель, спросил Кондратьев. – Что, нашли старшину?

– Товарищ старший лейтенант, вы только, пожалуйста, не удивляйтесь. Вы не поверите своим ушам! – торопясь, оживленно заговорил невидимый в темноте Скляр. – Вы не поверите своим ушам, кого я привез от старшины! Он был у старшины...

– Что, что? – не понял Кондратьев. – О чем вы?

– Я вам не скажу, вы сами посмотрите! – восторженно воскликнул Скляр. – Это почти военная тайна...

Кравчуку не понравился этот вольный оборот речи.

– Что такое? – грозно повысил голос Кравчук. – Почему так со старшим лейтенантом?

– Я извиняюсь! Товарищ старший лейтенант... товарищ сержант, вы не поверите своим ушам! Вы сами посмотрите, – произнес Скляр секретным шепотом. – Там, в воронке!

Они подошли к бомбовой воронке, оттуда доносился говор. Кондратьев откинул брезент, и все трое соскользнули вниз, к костру, в дым, в тепло, в запах парных шинелей.

Возле огня, в окружении солдат и потного, растерянного старшины Цыгичко, сидел на ящике капитан Ермаков, свежевыбритый, веселый, в расстегнутой на груди шинели, ел из котелка горячую кашу, дул на ложку, глядя на вошедших темными улыбающимися глазами. И обрадованный Кравчук мгновенно успел заметить, как Шурочка закусил белыми зубами губу, как золотая пуговка на высокой ее груди всколыхнулась, как у Кондратьева стало беззащитным лицо.

– Сережка!.. – воскликнул Борис, бросил со звоном ложку в котелок и, оттолкнув умиленно улыбающегося старшину, быстро встал: – Здравствуй, Сережка! Здравствуй, Шура! Здорово, брат Кравчук!

Он сильно обнял Кондратьева, потом Кравчука, шутливо обнял и Шуру, звонко поцеловал ее в щеку, засмеялся, снова сел на ящик, взял котелок.

– А ну-ка, садись все! Старшина, котелки да горячую кашу. Да пожирней у меня! Мигом!

– Слушаюсь, товарищ капитан!

Старшина Цыгичко, пожилой человек с острым хрящеватым носом и пухлым откормленным лицом, не вылез – выпорхнул из-под брезента, струйка песка зашуршала, скатываясь к сапогам Шурочки. Кондратьев опустил на кончик ящика, виновато скользнул взглядом по веселому лицу Бориса, проговорил взволнованно:

– Неожиданно ты... Из госпиталя? А я тут за тебя команду...

– Очень рад, – сказал Борис. – Слушай, по дороге я узнал, что у тебя

четыре орудия на той стороне, а тут ребята рассказали, что только два... Значит, половины батареи нет? Объясни, пожалуйста.

Кондратьев вздохнул, положил длинные руки на колени и сконфуженно стал говорить, что только два орудия удалось переправить на правый берег. Одно прямым попаданием разбило на пароме, на середине Днепра. Плоты затонули. Четвертое орудие еще не вернулось из армейских мастерских, оно там второй день. Вчера убило лейтенанта Григорьева, ранило сержанта Соляника, Грачева, Дерябина. Остальные добрались сюда вплавь. С ранеными. Это было прошлой ночью. Сегодня ночью снова...

Борис ковырнул ложкой в дымящейся каше, бросил ложку в котелок.

– Значит, фактически батареи нет?

– Да, сейчас от саперов. Просят людей. Бесконечные потери у них.

Борис пристально сощурился на костер, спросил:

– Сколько же они просят людей?

Кондратьев закашлялся, потер грудь, отвел лицо, смущенно стряхивая слезы, выведенные бухающим простудным кашлем.

– Шесть человек.

По острову пронеслись скачущие разрывы – возле берега, ближе, ближе, справа, слева... Брезент упруго вогнулся. Все сидевшие в воронке напряженно начали есть, никто не глядел на Бориса, на Кондратьева – ожидали. Шесть человек – значит, идти сейчас от этого костра туда, под огонь, в холодную воду, чтобы выполнять не свою работу.

– На чужой шее хотят в рай съездить, – сказал Дервянко безразлично.

Лузанчиков, закутавшись в кравчуковскую плащ-палатку, блестя глазами, придвинулся к костру, Елютин с недоверчивым видом поскреб пустой котелок, перевернул его, а на дно невозмутимо положил часы. И придержал их рукой, потому что часы со звоном заплесали от взрывов. Бобков спокойно вытирал соломой ложку, поглядывал на хмурого Кравчука, а из-за спины его вопросительно, замерев, смотрел телефонист.

Разрывы скакали по острову. Один из них тяжело встряхнул воздух над брезентом.

Тут же в воронку, расплескивая на добротную офицерскую шинель кашу из котелков, шумно вкатился на ягодицах старшина Цыгичко, фальшиво посмеиваясь, сообщил:

– Саданет около кухни, чтобы его дьявол! Коней начисто побьет! А прожектором по берегу... Да пулеметы... Чешет як сатана!

Он возбужденно раздул ноздри хрящеватого носа, ставя котелки, и почему-то искательно улыбнулся Шурочке. А она, напряженно следя за колебанием костра, бледная, проговорила вдруг с насмешливой дерзостью:

– Все снаряды рвутся около кухни. Давно известно! Стреляют у нас, а снаряды рвутся у вас.

Но в это мгновение никто не поддержал ее. Старшина осторожно поднял щепочку, отошел в тень, стал аккуратно соскребывать кашу на шинели, вздыхая.

– Шесть человек? – переспросил Борис, нежно посмотрел на Шурочку, на Кондратьева и усмехнулся. – Ни одного человека. Ну, что вы сидите? Куда, к черту, годны сейчас? Наворачивайте кашу.

– Я обещал саперам, – невнятно, картавя сильнее обычного от волнения, возразил Кондратьев и наклонился к огню, стиснув худые руки на коленях. – Видел, что происходит на острове? Саперы просто не успевают...

Борис носком хромового сапога толкнул дощечку в костер – зазвенела начищенная шпора, – подумал, громко позвал:

– Старшина! – И когда Цыгичко со сладким ожиданием повернул к нему сытое тыловое лицо свое, спокойно спросил: – Сколько раз за мое отсутствие опаздывали в батарею с кухней?

– Товарищ капитан, – забормотал Цыгичко. – Як же можно?

– Значит, не меньше шести раз. Так? Ну вот, отберите пять человек ездовых. Вы – шестой. И в распоряжение саперов. Повара Караяна оставьте за себя. Все.

В быстрых, ищущих опору пальцах старшины сломалась щепочка, которой он чистил шинель, откормленные щеки задрожали.

– Товарищ капитан... – И он обессиленно прижал руки к бокам.

Борис, внимательно оглядев его с ног до головы, спросил тоном некоторого беспокойства:

– Много ли у вас еще годных шинелей в обозе? А, Цыгичко?

– Нету, товарищ капитан... Як же можно?..

– На самогон меняете? Или на сало? У вас было двенадцать шинелей в запасе. – Борис встал, бесцеремонно повернул мгновенно вспотевшего старшину на свет, опять осмотрел его. – Ну, что ж. Прекрасная офицерская шинель. Отлично сшита. Снимайте, она вам мала. Вы растолстели, Цыгичко. У вас нефронтовой вид. – И обернулся к Кондратьеву: – Снимите-ка свою шинель. И поменяйтесь. Как вы раньше не догадались, Цыгичко? Люди ходят в мокрых шинелях, а вы и ухом не шевельнете.

Цыгичко, задвигав носом, не сразу находя пальцами пуговицы, начал торопливо расстегивать шинель; а Кондратьев, с красными пятнами на щеках, невнятно забормотал:

– Не стоит... Не надо это... Зачем?

Руки Цыгичко замедлили свое скольжение по пуговицам. Он замер. Однако, заметив это, Борис слегка поднял голос:

– Снять шинель!

Старшина молча, поеживаясь, как голый в бане, снял шинель, и Кондратьев неловко накинул ее на влажную гимнастерку, отстегнул погоны.

– Марш! – сказал Борис старшине. – И через десять минут с людьми здесь. Ну, все. – Он улыбнулся Кондратьеву, кивнул Шурочке. – Пошли!

«Хозяин приехал», – удовлетворенно подумал строго наблюдавший все это сержант Кравчук.

И понимающе посмотрел в спину Шурочке, которая вслед за Борисом покорно выбиралась из воронки.

– Ты ждала меня, Шура?

– Я? Да, наверно, ждала.

– Почему говоришь так холодно?

– А ты? Неужели тебе женщин не хватало там, в госпитале? Красивый, ордена... Там любят фронтовиков... Ну, что же ты молчишь? Так сразу и замолчал...

– Шура! Я очень скучал...

– Скуча-ал? Ну кто я тебе? Полевая походная жена... Любовница. На срок войны...

– Ты обо всем этом подумала, когда меня не было здесь?

– А ты там целовал других женщин и не думал, конечно, об этом. Ах, ты соскучился? Ты так соскучился, что даже письмеца ни одного не прислал.

– Госпиталь перебрасывали с места на место. Адрес менялся. Ты сама знаешь.

– Я знаю, что тебе нужно от меня...

– Замолчи, Шура!

– Вот видишь, «замолчи»! Ну что ж, я ведь тоже солдат. Слушаюсь.

– Прости.

Он сказал это и услышал, как Шура натужно засмеялась. Они стояли шагах в тридцати от воронки. Ветер, колыхая во тьме голоса все прибывавших на остров солдат, порой приносил струю тошнотного запаха разлагающихся убитых лошадей, с сухим шорохом порошил листьями. Они сыпались, отрываясь от мотающихся на ветру ветвей, цеплялись за шинель – по острову вольно гулял октябрь. В темноте смутно белело Шурино лицо, знакомо темнели полосы бровей, и Борису казалось, что сквозь шинель он

чувствовал упругую ее грудь. Но ему был неприятен ее натужный смех, ее вызывающий, горечью зазвеневший голос. Борис сказал:

– Все это мне не нравится, Шура.

Он обнял ее за неподвижно прямую спину, нашел холодные губы, сильно, до боли прижался к ним, почувствовав свежую скользкость ее зубов. Она отвечала ему слабым, равнодушным движением губ, и он легонько раздраженно оттолкнул ее от себя.

– Ты забыла меня? – И, помолчав, повторил: – Ты забыла меня?

Она стояла неподвижно.

– Нет...

– Что нет?

– Нет, – повторила она упрямо, и странный звук, похожий на сдавленный глоток, получился у нее в горле.

– Шура, я тебя не узнаю. Ну, в чем дело? – Он взял ее за плечи, несильно тряхнул.

Она молчала. Совсем рядом, едва не задев, ломаясь через кусты и переговариваясь, прошла группа солдат к Днепру. Они что-то несли. Один сказал: «К утру успеть бы...»

Нетерпеливо переждав, Борис обнял Шуру, приблизил ее лицо к своему, увидел, как темные брови ее горько, бессильно задрожали, и, откинув голову, кусая губы, она вдруг беззвучно, прерывисто заплакала, сдерживаясь. Она словно рыдала в себя, без слез.

– Ну что, что? – с жалостью спросил он, прижимая ее, вздрагивающую, к себе.

– Тебя убьют, – выдавила она. – Убьют. Такого...

– Что? – Он засмеялся. – Прекрати слезы! Глупо, черт возьми! Что за панихида?

Он нашел ее рот, сухой, горячий, но она резко отклонила голову, вырвалась и, отступая от него, прислонилась спиной к сосне, оттуда сказала злым голосом:

– Не надо. Не хочу. Ничего не надо. Мы с тобой четыре месяца. Фронтная любовница с ребенком?.. Не хочу! И меня могут убить с ребенком...

– Какой ребенок?

– Он может быть.

– Он, может быть, есть? – тихо спросил Борис, подходя к ней. – Ну, что уж там «может быть»! Есть?

– Нет, – ответила она и медленно покачала головой. – Нет. И не будет. От тебя не будет.

– А я бы хотел. – Он улыбнулся. – Интересно, какая ты мать. И жена. – Потом взял ее руку, сжал сильно, почти приказал: – Хватит слез. В госпитале я тебе не изменял. (Борис обманывал ее.) Умирать не собираюсь. Еще тебя недоцеловал (весело усмехнулся). Ну, поцелуй меня.

Шура стояла, прислонясь затылком к сосне.

– Ну, поцелуй же, – настойчиво попросил он. – Я очень соскучился. Вот так обними (он положил ее безжизненные руки к себе на плечи), прижмись и поцелуй!

– Приказываешь? Да? – безразличным голосом спросила она, пытаясь освободить руки, но Борис не отпустил, уверенно обвил их вокруг своей шеи.

– Глупости, Шура! Ведь я еще не командир батареи. Пока Кондратьев.

– А уже всем приказывал! Как ты любишь командовать!

– Все же это моя батарея. Честное слово, укокошит ни с того ни с сего, как ты напророчила, и не придется целовать тебя...

Шура со всхлипом вздохнула, вдруг тихо подалась к Борису, слабо прижалась грудью к его груди, подняла лицо.

Он крепко обнял ее, ставшую привычно податливой.

«Опять, все опять началось», – думала Шура с тоской, когда они шли к батарее.

Борис говорил ей устало:

– Я рвался сюда. К тебе. Неужели не веришь?

«Нет, я не верю, – думала Шура, – но я виновата, виновата сама... Ему нужно оправдывать ненужную эту любовь, в которую он сам не верит... Все временно, все ненадежно... Он рвался сюда? Нет, не я тянула его. Он относится ко мне, как вообще к женщине, ни разу серьезно не сказал, что любит. Да если бы и услышала это, не поверила бы. Он только сказал однажды, что самое лучшее, что создала природа, – это женщина... мать... жена... Жена!.. Полевая, походная... А если ребенок? Здесь ребенок?»

Злые, бессильные слезы подступили к ее горлу, сдавили дыхание горячей, душащей спазмой.

А Борис в это время, нежно, сильно прижав ее плечо к своему, спросил обеспокоенным тоном:

– Ну, что молчишь?

Тогда она ответила, сглотнув слезы, чтобы он не заметил их, – все равно не понял бы ее:

– В батарею пришли.

В отдаленном огне ракет возникли темневшие между деревьями

снарядные ящики. Силуэт часового около них не пошевелился, когда под ногами Бориса и Шуры зашуршали листья.

– Там, у ящиков! – громко окликнул Борис. – Заснули? Унесут в мешке к чертовой матери за Днепр!

Круглая фигура часового затопталась, повернулась, и сейчас же ответил обнадеживающий голос Склера:

– Я не сплю, нет. Я слушаю, как ветер свистит в кончике моего штыка. Все в порядке.

– Так уж все в порядке? – сказал Борис, поглядев на скользящий по кромке берега голубой луч прожектора. – Немцы жизни не дают, а ты – «в порядке»...

– Так точно. Вчера искупали. Нас и пехоту. А пехота вся на этот берег – назад. Как мухи на воду. Все обратно, на остров... А если опять искупают?

– Позови Кондратьева, – приказал Борис.

– А он старшину с ездовыми к саперам повел.

– Узнаю интеллигента. Не мог послать Кравчука, – насмешливо сказал Борис Шура. – Пошли.

– Куда? – Шура стояла, опустив подбородок в воротник шинели.

– К саперам.

– Не надо этого. Не надо, – устало, но страстно попросила она. – Ну зачем тебе?

Он посмотрел на нее удивленно. Никогда раньше она не вмешивалась в его дела; просто он не допустил бы, чтобы она как-то влияла на его поступки. Но почему-то сейчас, после близости с ней, после ее приглушенных слез, к которым он не привык, которые были неприятны ему, он не мог рассердиться на нее. И он ответил полушутливо, не заботясь, что думает об этом Склера:

– Война тем война, что везде стреляют. Значит, ты не разлюбила меня, Шура? – Нагнулся, отцепил шпоры, со звоном швырнул их на снарядный ящик. – Спрячь, Склера.

– Да уж верно, товарищ капитан, – мягко ответил Склера, засовывая шпоры в карман. – А мне как, товарищ капитан? К вам опять в ординарцы? Или как?

С дороги, гудевшей сквозь ветер отдаленным движением, голосами, внезапно вспыхнули, приближаясь, покачиваясь на стволах сосен, полосы света.

Склера сорвался с места, ломая кусты, покатился в темноту, крича:

– Стой! Гаси свет! Куда прешь? Не видишь – батарея? Гаси фары,

стой!

Фары погасли.

– А мне батарею и не нужно, не голоси, ради бога! Вконец испугал, колени трясутся. Мне капитана Ермакова.

Низкий «виллис», врезаясь в кусты, мягко остановился, и по невозмутимому голосу, затем по легким шагам Борис узнал Жорку Витьковского.

– Ты? – спросил Борис. – Что привез?

– Я, – ответил Жорка, весь приятно пропахший бензином, и что-то сунул сейчас же в руку капитана. – Скушайте галетку. Великолепная, немецкая. Вас срочно в штаб дивизии. Иверзев вызывает...

– Иверзев?

– Ага, – Жорка потянул за рукав Бориса, дыша мятной галеткой, зашептал: – Тут вроде форсировать не будут. Что-то затевается. Вроде Володи. Вас – срочно. Скушайте галетку-то...

– Галетку? – задумчиво спросил Борис. – А много у тебя этих галеток?

Жорка обрадованно ответил:

– Да полмешка, должно. В машине с запчастями вожу. Чтоб полковник не заметил. Он что увидит – р-раз! – и за борт. И чертей на голову. В Сумах на немецких складах взял.

– Давай сюда, аристократ. Выкладывай мешок на ящики. Склад, отнеси ребятам конфискованное...

Быстро повернулся, подошел к Шуре, пристально взглянул в белеющее лицо и не увидел, а угадал, затаенную не то тревогу, не то радость по поднятым ее бровям.

– Что? – спросила она шепотом.

– Еду. Передай Кондратьеву. И пусть не щеголяет интеллигентностью. – И поспешно, холодно поцеловал, едва прикоснулся к губам ее. Она чувствовала тающий холодок его поцелуя и думала: «Уже не нужна ему. Нет, не нужна».

А он, садясь в «виллис», спросил:

– Может быть, со мной поедешь?

– Нет, Борис. Нет...

– Ограбили! – сказал Жорка и засмеялся.

«Виллис» тронулся, затрещали кусты, Шура стояла, опершись рукой о снарядный ящик, смотрела в потемки, где трассирующей пулей стремительно уносился красный огонек машины, и с тоскливой горечью думала: «Ограбили. Это он обо мне сказал – ограбили!»

Глава четвертая

В этом маленьком селе тылы дивизии смешались с полковыми тылами – все было забито штабными машинами, санитарными и хозяйственными повозками, дымящимися кухнями, распространявшими в осеннем воздухе запах теплого варева, заседланными лошадьми полковой разведки, дивизионных связных и ординарцев. Все это в три часа ночи не спало, перемещалось, двигалось и жило особой лихорадочно возбужденной жизнью, какая бывает обычно во время внезапно прекратившегося наступления.

Круто объезжая тяжелые тягачи, прицепленные к ним орудия, темные, замаскированные еловыми ветвями танки, Жорка вывел наконец машину на середину улицы, повернул в заросший наглухо переулок. «Виллис» вкатил под деревья, как в шалаш; сквозь ветви сбоку тепло светились красные щели ставен. Жорка, соскакивая на дорогу, сказал:

– Полковник сперва к себе велел завезти. Свои, свои в доску! – обернулся он весело к часовому, который окликнул его от крыльца. – Чего голосишь – людей пугаешь?

Борис взбежал по ступеням и, разминая ноги, вошел в первую половину хаты, прищурился после тьмы. Пахнуло каленым запахом семечек, хлебом. На столе на полный огонь горела трехлинейная керосиновая лампа с чисто вычищенным стеклом, освещая всю аккуратно выбеленную комнату, просторную печь, вышитые рушники под тускло теплившимися образами в углу. Тотчас от стола, от бумаг, сияя изумленной радостью на молодом лице, поспешно привскочил, оправляя гимнастерку, полковой писарь, подвижной, белобрысый, и начищенная до серебристого мерцания медаль «За боевые заслуги» мотнулась на его груди.

– Товарищ капитан? Здравия желаю! – взволнованной хрипотцой пропел он, вытянулся, а правую, измазанную чернилами ладошку незаметно, торопливо вытер о бок. – Из госпиталя? К нам?

– Привет, Вася! Жив? – ответил Борис и не без интереса взглянул на незнакомого солдата, который стоял возле печи и с задумчиво-независимым видом подбрасывал на ладони парабеллум. Крепко сбитый в плечах, был он в широких яловых сапогах, в суконной выгоревшей гимнастерке, на ремне лакированно блестя черная немецкая кобура.

– Разведчик? – быстро спросил Борис, слыша приглушенные голоса из другой половины. – «Языков» привели?

– Точно. – Солдат подбросил парабеллум, сунул его в кобуру на левом боку: так носили пистолеты немцы.

– Полковник с ними разговаривает, – таинственно шепнул Вася. – Долго они чего-то...

Борис вошел в тот момент, когда полковник Гуляев, очевидно, уже заканчивал допрос пленных. Он сидел за столом, утомленный, грузный, со вспухшей шеей, заклеенной латками пластыря, повернувшись всем телом к узколициму лейтенанту-переводчику с косыми щеголеватыми бачками, хмуро задавал какой-то вопрос. Увидев на пороге Бориса, оборвал речь на полуслове, в усталых, что-то знающих глазах толкнулось короткое беспокойство; опустил крупную ладонь на бумагу, кивнул:

– Садись.

При виде незнакомого офицера высокий, в коротенькой куртке немец вскочил, разогнувшись, как пружина, по-уставному вскинул юношеский раздвоенный ямочкой подбородок. Другой немец не пошевелился на табурете, ссутулясь; уже лысеющий от лба, маленький, сухонький, желтый, будто личинка, он сидел, положив руки на колени; ноги, очевидно раненые, были пухло забинтованы, как куклы.

На столе с гудением, ярко горели две артиллерийские гильзы, заправленные бензином.

Борис присел на подоконник, и высокий молодой немец тотчас же сел, задвигался на табурете, обыденно, по-домашнему провел пальцами по волосам, сбоку то и дело вопросительно поглядывая на Бориса.

– Сегодня взяли, – сказал полковник вполголоса. – Пулеметчики. Вот этот щупленький, раненый, когда брали, хотел себя прикончить. Ефрейтор... между прочим, рабочий типографии. Киндер, киндер, трое киндер у него. А этот молодой – слабак.

– Я, я, – с улыбкой, предупреждаяще закивал молодой, постучал себя в грудь и показал палец, давая понять, что у него тоже есть ребенок, а лысеющий сутулый посмотрел на его палец слепо и равнодушно, пожевал губами.

– Ну, время идет, – недовольно сказал полковник и повернулся всем корпусом к переводчику. – Спросите этого еще раз... Где у них резервы, как фланги? Подробнее. На что рассчитывают? Молодого не спрашивай, этот что угодно наплетет... щупленького...

Переводчик торопливо и отчетливо заговорил, обращаясь к щупленькому, немец рассеянно, как слепой, смотрел ему в губы, а потом, слегка сморщась, приподнял одну ногу-куколку, переставил ее, затем стал отвечать медленно, ровным, въедающимся голосом. Переводчик забежал

карандашом по бумаге, почтительно наклонился к Гуляеву:

– Оборона вглубь на несколько километров. В несколько эшелонов. На флангах танки. Артиллерия. Это Восточный вал. Он закрывает путь к Днепру. Все офицеры и солдаты так говорят. Приказ по армиям – ни шагу назад. За отступление – расстрел. Здесь люфтваффе. Они закончат здесь победоносную войну. Разобьют русские армии и перейдут в наступление. Днепр – это перелом войны. До Днепра немецкая армия отступала. Это был тактический ход. Сохранить силы... Причем здесь против нас воюют и русские. Власовцы. Они стреляют до последнего патрона. Потому что мы их не пощадим. Как, впрочем, не пощадим и немцев пленных. Мы им устроим телефон...

– Скажи на милость, – произнес Гуляев, рассеянно барабанил пальцами по столу. – Ни шагу назад. А спроси-ка его, что такое телефон?

И опять ровный въедающийся голос; и опять карандаш переводчика забегал по бумаге.

– Им двоим, ему и вот этому молодому дураку, распорют животы, размотают кишки и свяжут их узлом. За то, что они зверствовали на Украине. Но немцы не зверствовали. Война не идет без жестокости. Это знает русский полковник.

Когда переводчик договорил это, щупленький снова переставил свою ногу-куколку, а лицо молодого окаменело, розовые губы растерянно-жалко растянулись, лоб и круглый подбородок покрылись испариной. Он повернул голову к Гуляеву, к переводчику, потом к Борису, тот усмехнулся ему глазами. Полковник Гуляев не рассмеялся, не улыбнулся, только грузно поерзал на стуле, стул заскрипел под ним. Толстая шея его, покрытая пластырем, врезалась в воротник кителя. Из-под припухлых век он взглянул на щупленького.

– Скажи ему, – строго произнес полковник, – что телефон устраивали русские белогвардейцы. При Колчаке. А у нас связи хватает. И потом скажи ему... Как же так... он, рабочий, пролетарий... со спокойной душой воюет против русских рабочих... Знает он, что такое международный пролетариат? А? Спроси его... Как оправдывает он себя, что, как самый закоренелый эсэсовец, воюет? Ведь он все же рабочий?

Переводчик глубокомысленно собрал кожу на лбу и, так же как полковник, отчетливым, строгим голосом заговорил с щупленьким. Глаза у этого немца, глаза больной птицы, подернутые пленкой равнодушия, неизбывной усталости, на миг как бы очистились, пропустили в себя смысл заданного вопроса, и он ответил необычно быстро, почти брезгливо, тусклая улыбка трогала его маленький рот. И переводчик, неуверенно

хмурясь, перевел:

– Когда после Версальского мира Германия голодала, международный пролетариат не помог ей. Германии нужен был хлеб, а не слова.

– Ну, хватит! Достаточно!

Гуляев поднялся, откинул рукав кителя, глядя на часы. И почтительно встал щеголеватый лейтенант-переводчик, и, как бы все поняв, вскочил молодой, выставив круглый подбородок, немец, вытянулся, замер, ожидая, а щупленький, вскинув, как по команде, свою маленькую лысеющую голову, коротко и зло сказал что-то сквозь зубы этому молодому.

– Что он? – спросил Гуляев.

– Он сказал: спокойно, кошачье дерьмо, ты солдат! – скромно потупясь, ответил переводчик.

– Легостаев! Увезти. В штаб дивизии! – крикнул Гуляев.

Вошел разведчик мягкой походкой, поправил на левом боку кобуру. В ту же минуту молоденький немец покорно стал на колени перед щупленьким, нагнул крепкую шею, осторожно, словно ощупывая, где не больно, взял ефрейтора за талию и легко посадил его к себе на плечи, ногикуколки повисли на его груди. Раненый только передернулся от боли, сжал рот, но ни одного звука не издал.

– Пошли, – сказал Легостаев, кивнув на дверь.

Пригибаясь, чтобы ефрейтор не задел за притолоку, молодой немец вынес его из комнаты, и Легостаев закрыл за ними дверь. Стало тихо. В раздумье полковник Гуляев медленно складывал лежащую на столе карту, покосился на Бориса.

– Ну, что скажешь? Матерые сидят против нас? Шапками не закидаешь! На «ура» не возьмешь? А?

– Интереснейший тип этот ефрейтор, – сказал Борис.

– Вы скажете, товарищ капитан, – робко возразил переводчик, все так же потупясь. – Это убежденный гитлеровец. Что же в нем интересного? Странно...

Борис презрительно смерил переводчика взглядом.

– А я и не надеялся увидеть в этом ефрейторе сторонника русских.

– Прекратите бесполезные разговоры, – прервал полковник Гуляев, рывком надевая шинель. – Вы свободны, лейтенант. Капитан Ермаков, останьтесь. Тебя вызвал не я, – сказал он Борису, когда переводчик вышел. – Тебя вызывают в штаб дивизии.

– Зачем?

Гуляев отвел глаза, озабоченно махнул рукой, ответил:

– Некогда. Пошли... Иверзев не простит опоздания.

В одной из нескольких хат, где размещался штаб дивизии, светло, чисто подметено, и среди сидевших вдоль стен офицеров та подчеркнутая и почтительная тишина, которая в военной среде всегда означает, что рядом присутствует высшее начальство: здесь педантично выбритые адъютанты и офицеры штаба двигались бесшумно, тут привыкли говорить негромкими голосами, команды не повторялись два раза – здесь мозг дивизии. До последнего ранения Борису приходилось бывать в штабе дивизии при прежнем генерале Остроухове, и каждый раз, уезжая в батарею из этой полутемной, напоминавшей мудрое спокойствие забытых московских читален, Борис увозил с собой нехорошее чувство неудовлетворенности, словно кто-то напоминал ему, что война – это не его профессия, что звание капитана, ордена, так легко доставшиеся ему, все чужое, не его, и, может быть, он отдал бы это все за одну лекцию по высшей математике. Испытывал он это чувство потому, что давно и легко свыкся с офицерской формой, казалось порой, что воевал всю жизнь, а молва о нем как о смелом офицере давала ему возможность беззастенчивой свободы, что было дорого ему: не тянуться в тылах, подчеркивая уважение к звездочкам, перед высшими офицерами, что очень не нравилось осмотнительному в вопросах субординации полковнику Гуляеву, говорить открыто, смеяться тогда, когда хотелось смеяться, – вести себя так, как может вести офицер, знающий цену себе и привыкший к откровенности отношений на передовой.

Когда Борис вместе с полковником Гуляевым вошел в наполненную офицерами комнату, все повернули к ним головы, многие приветливо кивнули Борису; он увидел знакомых командиров пехотных батальонов, усталых, в несвежих гимнастерках и плохо выбритых. Борис ответно подмигнул, улыбнулся им, но тотчас сделал притворно официальное лицо, услышав густой, почтительно сниженный голос Гуляева, докладывающего полковнику Иверзеву о прибытии. Гуляев сделал шаг в сторону. Двумя руками одернул китель на выступавшем животе, нахмурился, кашлянул в ладонь, сел к столу, где в зыбком папиросном дыму белели лица. Соблюдая субординацию, Борис должен был докладывать за полковником, но не успел. Полковник Иверзев, румяный, светловолосый, с синими холодными глазами, одетый в прекрасно сшитый стального цвета китель, твердо и жестко посмотрел на Бориса, сочным голосом сказал:

– Опаздываете, капитан Ермаков! Причины?

– Я только что с Днепра, товарищ полковник, – ответил Борис, сразу уловив предупреждающий взгляд Гуляева.

– Надо успевать, капитан Ермаков. Успевать! Стыдно офицеру. Садитесь.

Иверзева Борис видел впервые; был он прислан в его отсутствие, кажется, из запасного офицерского полка на замену старого, неторопливого генерала Остроухова, чрезвычайно осторожного в операциях и принимаемых решениях. За столом Борис увидел заместителя командира дивизии по политической части полковника Алексеева. Аккуратно подтянутый, он сидел, наклонив высокий лоб, гладко зачесанные назад редкие волосы влажны, худое интеллигентное лицо свежо, словно недавно умыто, умные глаза мягко и знакомо щурились Борису. Борис кивнул ему, и сейчас же подполковник Савельев, начальник штаба полка, человек тихий, серьезно больной сердцем, вынул из зубов незажженную трубку и тоже закивал Борису седеющей головой, точно обрадованный чем-то.

По всем этим знакам внимания Борис сразу понял, что в штабе был разговор о нем, и тут же прочно убедился в этом, услышав сбоку шепот:

– Приветствую вас, капитан! Вы, как говорят, с корабля да на бал?

Это был капитан Максимов, командир пехотного батальона. Был он средних лет, рыжеватый, добродушный, ласковый взгляд из-под коротких золотистых ресниц светился девичьей озорной улыбкой; она словно брызгала и с его щек, невольно вызывая ответную улыбку.

– Похоже, – ответил Борис. – А что?

Максимов положил руку Борису на колено, потом, указывая бровями на Иверзева, прислонил палец к губам.

– Потом, потом...

– Прошу внимания!

Полковник Иверзев встал, высокий, плотный, твердо глядя перед собой. Толстый карандаш был сжат в его маленьком крепком кулаке, этот кулак без стука опустился на карту, невольно привлекая к себе внимание офицеров. И Борис, вспомнив мягкую руку старика Остроухова, почему-то подумал, что кулачок этот беспощадно силен, властолюбив, неподатлив... Иверзев заговорил:

– Товарищи офицеры! Позавчера два передовых батальона полковника Гуляева подошли к Днепру, пытались форсировать его... Все это, как вам известно, решающих результативных последствий не имело. – Синие глаза Иверзева будто коснулись нахмуренного лица полковника Гуляева. – Огнем танков, артиллерии, пулеметным огнем батальоны были рассеяны по воде, вынуждены были занять прежнюю позицию на острове. – Толстый карандаш ткнулся в карту. – За исключением двух, только двух неполных стрелковых взводов и одного орудия полковой батареи, сумевших переправиться на правый берег.

«Почему одно орудие? Откуда эти сведения!» – Борис пожал плечами,

тотчас же Иверзев, заметив это, перевел на него взгляд – словно синий, холодный свет почувствовал Борис на своем лице. Полковник продолжал:

– Все попытки этих двух батальонов форсировать Днепр вчера ночью закончились неудачей. Наши батальоны столкнулись с глубоко и тщательно подготовленной эшелонированной немецкой обороной, весьма широкой по фронту, как стало известно. – Иверзев снова поднял и опустил сжатый кулак на карту, полное лицо его стало более румяным. – Наша дивизия южнее города Днепрова. Но мы сдерживаем правого и левого соседа, двое суток топчемся на месте.

Иверзев отбросил карандаш, пальцами коснулся белейшей полоски подворотничка, словно он давил горло, после паузы четко повторил:

– Двое суток! Вчера дивизия получила пополнение боеприпасами, кроме того, нам приданы танки...

«Так вот оно что! – подумал Борис, вспомнив горящую станцию, и на миг поймал тревожный, ускользающий взгляд полковника Гуляева. – Что он?»

– Задача дивизии следующая! – звучал голос Иверзева. – Два пополненных батальона Восемьдесят пятого стрелкового полка сегодня к рассвету, а именно к пяти часам утра, сосредотачиваются: в районе деревни Золотушино – первый батальон майора Бульбанюка; второй батальон капитана Максимова – в районе лесничества. Первому батальону придаются два орудия под командованием капитана Ермакова, второму – батарея сорокапятимиллиметровых пушек лейтенанта Жарова... Кроме того, батарея восьмидесятидвухмиллиметровых минометов повзводно придается батальонам.

«Так! Значит, я поддерживаю Бульбанюка. Но какими двумя орудиями?» – подумал Борис, поискал глазами и нашел в углу комнаты крепко скроенного майора Бульбанюка, немолодого, с едва заметными оспинками на непроницаемо спокойном лице. Не подымая головы, он неторопливо делал пометки на карте, разложив ее на коленях; из-под планшетки видны были давно не чищенные, в ошметках грязи, стоптанные сапоги. «Но какими двумя орудиями? Где они?»

– Цель батальонов: любой ценой форсировать Днепр на правом фланге немецкой обороны, где разведка нащупала разрывы, вклиниться в оборону, выйти в тыл, завязать бой и тем самым отвлечь на себя внимание немцев. Направление первого батальона – Ново-Михайловка, второго – Белохатка. К этому времени вся дивизия будет сосредоточена в районе острова, готовая как бы к прыжку. – Иверзев ударил суставами пальцев по карте. – Как только батальоны, завязав бой, заставят немцев оттянуть часть войска с

фронтальных позиций, дивизия нанесет удар по фронту с задачей занять широкий плацдарм на правом берегу, южнее города Днепрова. Завязав бой в районе Ново-Михайловки и Белохатки, батальоны дают знать по радиации – «Дайте огня», в случае хорошей видимости – четыре красные ракеты. По этому сигналу дивизия всеми орудийными стволами поддерживает батальоны, затем открывает огонь по немецкой обороне и переходит в наступление, соединяется с батальонами. Таков ход операции. Вопросы?

Уперев кулак в стол, Иверзев сел, оттолкнул карандаш, долго в молчании смотрел, ожидая вопросов, на плохо выбритые лица офицеров. Но никто вопросов не задавал, делали вид, что внимательно изучают карты на планшетках, – каждый из этих давно воевавших пехотных и артиллерийских офицеров хорошо понимал: то, что легко и, казалось, просто начертается в штабах, нестерпимо трудно оборачивается в деле.

Выдержанный и корректный полковник Алексеев, одной рукой прикрыв подбородок, другой вертел в пальцах массивный серебряный портсигар; тусклые блики, отскакивая от полированной крышки, скользили по его высоким залысинам над высоким лбом. Подполковник Савельев, поглаживая кончик пустой трубки, сосредоточенно посасывал ее; худые оттененные синевой щеки его ввалились. Капитан Максимов, неопределенно улыбаясь, чистил спичкой ногти, взглядывал на ничего не выражающее лицо Бульбанюка.

Было тихо.

Полковник Гуляев, наклонив крупную голову, так что видна была багровая сильная шея с заплатками пластыря, сжимал в кулаке носовой платок и, расставив колени, глядел на пол. И эта обожженная шея его, проседь в висках, скомканный носовой платок показались Борису жалкими в эту минуту. «Почему он не спрашивает о флангах? Почему он не говорит, что на левом берегу не осталось ни одного целого орудия? Не знает?» Борис вырвал листок из записной книжки, быстро написал: «На плацдарме не одно орудие, а два. Два остальных разбиты при переправе. На острове нет ни одного орудия моей батарее».

– Разрешите, товарищ полковник? – громко сказал Борис, обращаясь к Иверзеву.

– Вопрос?

– Нет, не вопрос.

Борис поднялся и, провожаемый взглядами насторожившихся офицеров, передал записку полковнику Гуляеву и спокойно сел на свое место.

Тот медленно, преодолевая боль в шее, повернул голову к Борису,

утомленно обвел его улыбнувшееся лицо что-то особо знающими глазами, развернул записку, прочитал и ничего не ответил. «Почему он молчит? Что он?» – уже раздраженно подумал Борис.

– Вопросы? – Иверзев глянул на ручные часы. – Время в обрез. Все ясно, товарищи офицеры?

Он нахмурился, встал.

– Полковник Гуляев. Кстати, кажется, вам передали записку? Надеюсь, не любовная?

Гуляев коротко улыбнулся на эту шутку, грузно поднялся, будто отяжелевший в ногах, и молчал долго, томительно выжидая, – лица офицеров повернулись к нему.

– Что вы молчите, Василий Матвеевич? – мягко, с какой-то надеждой спросил подполковник Савельев, и сейчас же Алексеев сказал:

– Дайте подумать Василию Матвеевичу...

– Товарищ полковник, – размеренным голосом проговорил Гуляев, обращаясь только к Иверзеву, – приказ ясен... Но вот что... Из четырех орудий полковой батареи два на плацдарме. Два разбиты вчера ночью и затонули при переправе. – Гуляев ссутулил широкую спину, спросил; – Кого мне прикажете посылать? Я прошу дополнительных огневых средств.

– Как два? – изумленно спросил Иверзев. – Почему так поздно докладываете? Да вы что?

– Виноват, товарищ полковник, – глухо ответил Гуляев. – Я не мог знать. Я выполнял ваше приказание на станции Узловой.

– С орудиями мы решим, – утвердительно сказал полковник Алексеев, раскрывая портсигар. – Придется, видимо, взять взвод в арtpолку. Да, придется.

– Товарищи офицеры! – стоя произнес Иверзев. – Всем немедленно приступать... Никого не задерживаю. Все свободны.

Из тепла, из света комнаты командиры батальонов стали выходить в плотную тьму улочки, в шум деревьев, на холодный ветер, сквозь который понеслись колыхающиеся голоса:

– Липтяев, лошадь!

– Сиволап, давай сюда! Где пропал?

Продрогшие ординарцы подводили лошадей ближе к крыльцу, застоявшиеся лошади, привыкшие к фронтовой темноте, косили глазами на свет из дверей, тревожно шевелили влажными ноздрями. Осенний воздух был зябок, а черное небо, вымытое в выси октябрьскими ветрами, мерцало студено и звездно, и ясен и чист был, как снежная дорога, Млечный Путь в холодных темных пространствах над этой деревушкой, над Днепром, над

немецкой обороной по ту сторону его.

Командир первого батальона майор Бульбанюк, тяжело крикнув, перекинул крепкое тело в седло, буднично спросил Бориса, – тот, сходя по ступеням крыльца, закуривал, чиркал зажигалкой:

– Капитан, что там за ерунда на станции приключилась?

– Начальника тыла под суд отдадут, кажется.

– Виноватого найти легко, – сказал Бульбанюк. – Липтяев, поехали!

И пустил коня рысью, опережая ординарца.

Полковник Гуляев вышел на крыльцо вместе с Алексеевым. В желтом квадрате распахнувшихся дверей Борис увидел их фигуры: невысокую, налитую полковника Гуляева, длинную, узкоплечую Алексеева. И мгновенно в свежем воздухе запахло цветочным одеколоном – чистоплотный запах чего-то мирного, давно забытого, беспокоящего.

– Капитан Ермаков, – сказал Алексеев вполголоса, спускаясь по ступеням. – Вы получите в арtpолку два орудия с расчетами. Добавьте своих людей. По вашему усмотрению. Ну, дорогой мой, ни пуха вам, ни пера! И людей... людей берегите, дорогой мой!

Это странное обращение «дорогой мой», это «ни пуха вам, ни пера» – все это, и непростое и необыденное, вдруг сказала Борису: то, что было несколько минут назад в штабе, очень серьезно, и если после операции он останется жив, то не услышит больше необычное «дорогой мой», не почувствует больше невоенного пожатия руки Алексеева – это переступало установленные взаимоотношения. К штабу полка шли молча, наощупь обходя рывины, наталкиваясь на влажные от росы повозки, и Борису казалось, что в сыром воздухе еще таял ненужный беспокоящий запах цветочного одеколona, напоминая о том, что простая, недавно тихая жизнь круто изменила русло, и это возбуждало его.

– Одного не понимаю, – сказал Борис, останавливаясь, и швырнул папиросу под ноги. – Зачем унижаться перед Иверзевым? Почему вы мало попросили огневых средств для батальонов? Посмотрели бы на комбатов – все ждали...

– Молчать! Мальчишка! – гневно перебил его Гуляев. – Приказ есть приказ. Тысячу раз спрашивай о средствах – их не дадут, а приказ не отменишь! Фланги! – Гуляев, шумно дыша, зло рванул у Бориса рукав шинели. – Ничего не понимаешь?

– На войне везде риск. Это не трудно понять.

– Молокосос! Зяблик! Все с риском живешь, а не с умом!

Борис тихо сказал:

– Я не хотел бы ссориться, товарищ полковник.

– Иди сюда! – крикнул Гуляев, шагнув к нему, и уже сниженным голосом добавил: – Пойдем ко мне. Поужинаем.

И внезапно, как никогда этого не делал, притянул к себе Бориса, сжал до боли в плечах, сказал:

– Успеешь. Дам лучших лошадей. Успеешь... туда, успеешь...

Глава пятая

По дороге в штаб батальона Борис не думал о Шурочке; как бы вскользь вспомнил он насупленное лицо Гуляева за торопливым ужином, молча и залпом выпил полковник кружку водки, сказал некстати: «Матери своей о том, что выписался из госпиталя, как только вернешься, напишешь», – и, не закусывая, поднялся, точно скорее хотел проститься, остаться один, крикнул: «Жорка, двух лошадей. Поедешь с капитаном!» И, не обняв, не пожав руки, кивнул хмуро: «Все!»

Каждый раз, когда капитану Ермакову приходилось выкатывать батарею на прямую наводку или, стоя впереди пехоты, стрелять по танкам, было это «все». «Все» – это конец прежнего, грань нового, грань жизни и смерти: сумасшедший огонь, раскаленные докрасна стволы орудий, вольно распаханная на потной груди шинель, страшные в копоты глаза наводчиков. Это называлось подвиг, почетный, вызывающий зависть потом у тыловых офицеров, как результат факта, как лишний орден, как очередная звездочка на погонах, но тяжелый, грубый, азартный, с солью пота на гимнастерках в тот момент, когда все человеческие чувства оголены, когда ничего в мире нет, кроме ползущих на орудия танков. Борис любил эти минуты и, не задумываясь, не жалел ни себя, ни людей: он честно рисковал, рисковали все, он честно был там, где были все. Он верил в справедливость и в жестокость судьбы. В жестокость к тем, кто был уверен, что каждая взвизгнувшая пуля летит в него. Он в этом убедился на войне. Здесь много раз было это «все». Но это новое «все» сейчас не угнетало и не беспокоило его тревогой, наоборот, он чувствовал подъем духа, возбуждение.

– Жорка, не отставать! – крикнул Борис, хлестнув коня, и сразу стало холодно глазам от встречного, хлынувшего из тьмы ветра.

– И не думал даже, товарищ капитан, – ответил Жорка, на рыси притирая вплотную коня к стремяни Бориса, – как часики, успеем.

Ему нравился этот Жорка, легкий и спокойный, как погожий летний день, и он спросил, усмехнувшись:

– Жуешь все? Есть галеты?

– Все вашим артиллеристам оставил. Карманы чисты, как душа.

– Черт бы тебя взял, – неопределенно сказал Борис.

В землянке штаба батальона никого из офицеров не застали. Единственный телефонист, устало дремавший на соломе возле аппарата,

сонным голосом сообщил, что весь батальон полчаса назад снялся, а он по приказу уходит отсюда минут через двадцать, Борис спросил:

– Связь с артиллеристами, что на острове, есть?

– А на кой нам с ними-то, товарищ капитан? Только со штабом полка. И то снимаемся.

Борис раздраженно выругался, взглянул на фосфоресцирующий циферблат ручных часов – подарок наводчика Елютина, подозвал Жорку, тот держал в поводу лошадей.

– Мигом скачи в батарею к Кондратьеву. Скажешь: в мое распоряжение Кравчука, Бобкова, Скляра и... – Он подумал и, нахмурясь, добавил: – Шуре – ни слова. Всех посадить на лошадей.

– Есть!

– Подожди. Встретимся в Золотушино. Это по дороге вдоль Днепра. На юг. Через час быть там. Ни минуты опоздания. Я в артполк. Ну, как ветер!..

В четвертом часу ночи, прямо на огневых позициях артполка, стоявшего в лесу, Борис снял два орудия с полными расчетами.

Здесь уже знали приказ Иверзева. Орудия были приведены в походное положение, заспанные, ничего толком не понимающие солдаты жались кучками на станинах, зябко кутались в шинели. Командир батареи капитан Ананян, с осиной талией и тонкими усиками, и молоденький командир взвода лейтенант Ерошин были тут же, курили молча. Когда же Борис подал команду «на передки», и расчеты, забежав, стали выкатывать орудия из двориков, и потом, звеня вальками, упряжки подкатили передки к огневому, тогда капитан Ананян сказал:

– Ермаков, как сдаю тебе орудия и людей, так и получаю. Все. Понял меня?

Борис ответил:

– Лейтенанта Ерошина я мог бы не брать. Пусть остается в батарее.

– Но это же мой взвод, товарищ капитан, – просящим голосом заговорил Ерошин. – Я прошу вас, очень... Мне надо быть с людьми.

– Совершенно верно, – серьезно подтвердил Ананян.

Борис вскочил в холодно скрипнувшее седло: не ответив, пожал руку Ананяну, направил лошадь к темнеющим орудиям, подал команду:

– Держать самую короткую дистанцию. За мной. Ма-арш!

Через полчаса он вывел орудия на ту самую лесную дорогу, по которой вчера мчался на «виллисе» к Днепру. Теперь эта дорога вела в тыл, и пулеметные очереди за спиной, мигание ракет над вершинами леса, кишевшего войсками, – все сейчас удалялось. И казалось уже Борису, что в

госпитале он вовсе не лежал, что вчерашнее было несколько месяцев назад. Просто вернулось это: понтонный мост, по которому, гроыхая, еще двигались повозки, темные бугры убитых лошадей, разбитый «студебеккер» на обочине дороги, воронки бомб. Всплыло вдруг в памяти молодое, румяное лицо Иверзева, потом холодные, неподвижные губы Шурочки, донесся запах цветочного одеколона, – рванул повод, тряхнул головой, почувствовал: первое возбуждение прошло.

– Рысью марш!..

От небольшой деревеньки, битком набитой тылами, по ее улочкам, насквозь пропахшим кухонным дымом, Борис повернул взвод на южную дорогу, в сторону Золотушино: теперь она петляла в лесу вдоль фронта, в нескольких километрах от Днепра. И уже не было видно фиолетового света ракет, не стало слышно пулеметов, лишь иногда с обвальным ухающим грохотом рвался одинокий тяжелый немецкий снаряд в сырой чаще, и эхо долго, замирая, бродило по своим воздушным тропам.

– Рысью ма-арш!..

Он повторял эту команду, чтобы не ослабить нервное напряжение. Глаза его давно свыклись с темнотой, но Борис скорее угадывал дорогу, инстинктивно нагибаясь, когда черные лапы елей влажно ударяли по фуражке; слышал, как сзади легонько звенели вальки передков, как колеса орудий тупо стучали по корневищам; и, оглядываясь, не видел во тьме, а представлял расчеты, цепко облепившие станины и передки: там их было пятнадцать человек.

– Стой, стой! – раздался крик сзади. И оборвался в вязкой тишине.

Борис резко повернул лошадь, ударил ее плеткой, подскочил к орудиям.

– В чем дело?

Было тихо. Первое орудие стояло. Ездовой, ползая на коленях, со злобой ругаясь шепотом, возился около лошадей выноса, словно кнут потерял, шипел сквозь зубы:

– Ногу, ногу же, упарилась, дура... Да ногу же...

– Быстрой! – поторопил Борис. – Что возитесь?

И нетерпеливо соскочил на дорогу.

– Быстрой, быстрее, – послышался неуверенный голос лейтенанта Ерошина, и тотчас темная фигура с поднятым до ушей воротником приблизилась к Борису, потом рядом он услышал шепот: – Что-то очень тихо, товарищ капитан... Замечаете? Возможно, тут еще немцы? Подозрительно как-то... Не думаете?

– Возможно, Ерошин, – насмешливо ответил Борис, – если уж тут напоремся на немцев, развернем орудия на дорогу. А на всякий случай

всегда сохраняйте один патрон в пистолете. Ну? Готово там? – И оглянулся в темноту на орудия.

– Готово, – ответил недовольный голос.

– Садись! Держаться самой короткой дистанции! Марш!

Рассвет он почувствовал по туману, сначала смутно, островами забелевшему в глубине чащи справа и слева от дороги. Потом воздух посинел, заметно прояснилось впереди, и там заколыхалось что-то невесомое, живое, трепетное, как будто белый дым пополз от костра через кусты на дорогу. Тусклыми монетами заблестели в темной колее облитые росой опавшие листья. Сразу похолодало; по разгоряченной спине проползла сырая зябкость, рукава шинели стали мокрыми. Борис, поеживаясь, оглянулся: проступившие силуэты орудий двигались сзади в серой мути рассвета.

– Подтяни-ись!

Внезапно впереди распались леса, и внизу Борис увидел долину, залитую туманом до краев. В этом тумане угадывалась близкая вода, запахло рыбой, сыростью, намокшей осокой; купы кустов расплывчато темнели, над ними тянулась молочная мгла. Лесная дорога круто уходила туда, вниз, в туман.

– С рыси на шаг! Одерживай! – скомандовал Борис и попридержал коня у обочины: хотел посмотреть теперь, при свете утра, на орудия, на расчеты.

Первая упряжка на рыси вынырнула из лесного сумрака; следом – другая; увидев спуск, выносные ездовые осадили потных, дымящихся лошадей; лейтенант Ерошин, уже отогнув воротник шинели (сделал это, очевидно, только что), легко мелькая хромовыми сапожками, первый спрыгнул на дорогу, побежал, споткнулся, скомандовал притворно бодро: «Всем орудия одерживать!» – и живо посмотрел на Бориса неестественно зеркальными после бессонной ночи глазами. И Борис понял его взгляд: видите, все хорошо, ночь прошла без осложнений, а теперь утро – как ни говорите, все же ничего не случилось! – понял и усмехнулся: «Черт его возьми!» Понял он и мимолетные хмурые взгляды невыспавшихся солдат, вразброд, неуклюже соскочивших со станин: серые лица, поднятые, влажные от росы воротники, зябко сгорбленные спины. Почти у каждого новые ботинки, новые, неумело и туго накрученные обмотки: наверняка пополнение из освобожденных районов. «Кто ты такой, сидишь тут на коне? – мрачно спрашивали эти взгляды. – Куда нас ведешь? Зачем?» И Борис вдруг разозлился на капитана Ананяна (кого послал?) и на этих людей (лежали, милые мои, на горячей печке, у баб под боком, когда другие

мерзли в окопах!) и, поморщившись, так сильно махнул плеткой, что лошадь под ним шарахнулась в сторону.

– Всем опустить воротники! Не толкаться возле орудий, а лошадям помогать! Да дружнее!

Командиры орудий, два ладных, подтянутых сержанта одинакового роста, торопливым эхом повторили команды, солдаты, кто суетливо, кто нехотя, опустив воротники, забегали вокруг колес орудия, выказывая подчеркнутую старательность.

– Лейтенант Ерошин, ведите первое орудие. Командиры орудий, ко мне!

Первая упряжка тронулась. Ездовые что есть силы натягивали поводья, коренные лошади, хрипя, мотая головами, приседали на задние ноги; передки, тяжестью орудия наваливаясь на коренных, ударяли по ногам. Упряжка спускалась в туман. Когда же второе орудие нырнуло в белесую мглу, Борис строго взглянул на командиров орудий и несколько удивленно поднял брови. Перед ним, вытянувшись, стояли два одинаково молодых сержанта, одинаково большеглазых, одинаково широкоплечих.

– Кажется, я не пьян, – немного отходя от прежнего чувства злости и повеселев, сказал Борис, – но у меня вроде двоится в глазах. Вы что, близнецы?

– Так точно, товарищ капитан, – ответил один.

– Что же, все время вместе воюете? Давно на войне?

– Так точно, товарищ капитан, второй год, – ответил тот же сержант.

– Вы откуда сами?

– Из Москвы, товарищ капитан.

– Здорово! Земляки, значит! Где жили?

– На Таганке, товарищ капитан, а вы?

Один из братьев улыбнулся детской, чистой улыбкой, и другой улыбнулся так же, словно в зеркале отразилось.

– Я? В Сокольниках! Ну, как же мне различать вас, братцы? Ваша фамилия?

– Березкины, товарищ капитан. А в батарее нас различают по именам: сержант Николай Березкин и сержант Андрей Березкин. Это только сейчас так. Вы к нам привыкнете. Будете различать.

Борис засмеялся.

– Прекрасно! – Он опять оглядел братьев. – Черт его знает, не отличишь, первый раз на войне встречаюсь с близнецами! – И, перегнувшись с седла, спросил: – Вы мне вот что скажите, Березкины: состав расчетов из пополнения?

- Так точно, товарищ капитан. Из Сумской области.
- В боях были? Или прямо к Днепру от печек?
- Никак нет, были в одном бою. Ничего. Конечно, не совсем.
- Ладно, проверю, – сказал Борис. – По местам, Березкины!

Спуская коня по покатой дороге в долину, к орудиям, он услышал смеющийся голос лейтенанта Ерошина. Ерошин, возбужденный, шел навстречу, невесомо ставя ноги в легких сапожках, улыбаясь Борису, как давнему знакомому.

- Что, отдых, товарищ капитан?

– Какой отдых? – ответил Борис, с какой-то неприязнью увидев на молодом, веселом лице Ерошина тонкие светлые усики («Подражает Ананяну, что ли?»). – Отдых будет на том свете. Поняли? А усы зачем, усы?..

И, чувствуя, что сказал грубо, оскорбляюще, он несколько не осудил себя за это, хлестнул коня, проскакал мимо обиженно покрасневшего Ерошина, мимо солдат и орудий, мимо потных, поводящих боками упряжек. Он многое видел на войне и чувствовал за собой право так говорить с людьми, потому что отвечал за них и знал цену опасности больше, чем они.

- Рысью ма-арш!

В лесную деревушку Золотушино, расположенную в километре от Днепра, прибыли на ранней заре: над лесами ясно и розово пылало небо, и, подожженные холодным пламенем, горели стволы сосен, и светились влажные палые листья на земле, над крышами домов краснели редкие дымки. В деревне было по-раннему тихо; кое-где во дворах темнели повозки; дымила на окраине одинокая кухня, и сонный повар, гремя черпаком, возился возле нее. Еще издали Борис увидел на околице Жорку Витьковского. Он стоял без пилотки, белокурый, грыз семечки, сплевывал шелуху небрежно на шинель, посмеиваясь, переговаривался с поваром. Когда орудийные упряжки вырвались из розового лесного тумана, Жорка стряхнул прилипшую к шинели шелуху и, подкинув запотевший от росы немецкий автомат на плече, пошел навстречу.

– Ну как тут? – быстро спросил Борис, не слезая и сдерживая разгоряченную лошадь. – Батальон Бульбанюка здесь? Людей из батареи привел? Вижу, привел! Показывай, в какой хате Бульбанюк.

А Жорка светло, невинно смотрел голубыми глазами в лицо капитана.

– Привел одного Скляра. Остальные – тью-тью! С Кондратьевым на ту сторону поплыли. Скляр говорит: немцы на всю катушку огонь вели, а они в это время... Кондратьев приказал.

– Ну, интеллигент! – проговорил Борис и оглянулся на приближающиеся орудия. – Где Бульбанюк?

– Здесь. Пятый дом направо. Там батальонный штаб.

Жорка сунул руку в карман, хотел было вынуть тыквенное семечко, но передумал, вздохнул.

Через несколько минут, отдав приказание Ерошину разместить людей, Борис вошел в штаб. Возле крыльца часового не было. Повеяло теплом огня: тут топилась печь. Оранжевые блики играли на грязной ситцевой занавеске. Перед этой занавеской, в первой половине, прямо на полу, в соломе, храпел в воротник шинели обросший солдат, у изголовья на гвозде висели три автомата. Борис перешагнул через солдата, отдернул занавеску. На высокой кровати лежал начальник штаба батальона старший лейтенант Орлов, в галифе, но без гимнастерки и босой. Злое, цыганского вида лицо его с тонкими черными бровями было повязано пуховым платком. Он втягивал сквозь сжатые зубы воздух, пальцы на ногах быстро шевелились. На табуретке на развернутой карте стояла недопитая бутылка мутного самогона, жестяная кружка, рядом – нетронутый кусок черного хлеба. Планшетка валялась на полу возле сапог.

– Ах, сволочь! Ах, стерва! – стонал Орлов, непонимающе глядя на Бориса, прикладывая кулак к платку. – Чтоб тебя разорвало, собачья душа! Что ты возишься? Что возишься, как жук навозный? – закричал он, упираясь глазами в худую виноватую спину радиста, который робко сидел с наушниками в углу, около рации. – Что ты мне ромашками голову морочишь? Давай связь! Связь!

– Ромашка, Ромашка, плохо тебя слышу, плохо слышу... совсем не слышу... – речитативом бормотал радист.

Борис сел на лавку, опросил:

– Зубы, Орлов?

– Зубы, стервы! Как назло! – простонал Орлов, потянулся к бутылке, налил в кружку остаток самогона, пополоскал зубы, выпил, сморщился пополневшей щекой, занюхал корочкой хлеба. – И это не помогает! Не помогает! – Он со злобой швырнул бутылку под кровать, потом спросил иным, недоверчивым голосом: – Орудия привел? Два?

– Привел. Два. Где Бульбанюк?

– На плотях. В лесу плоты к ночи сооружают. Выделяй своих людей на плоты. Давай, капитан! Ну? Ну? Чего? – закричал он радисту, заметив, что тот полувопросительно обернулся от рации. – Чего молчишь? Говори!

– Ромашка сообщила: пришли на место.

– Ах, пришли! Пришли, дьяволы! – закричал Орлов, крепко выругался,

и пальцы на ногах зашевелились быстрее. – Ну, так, Максимов на место пришел! – И снова другим тоном обратился к Борису: – Тут солдат рассказывал: в Сибири у них у таежника зуб заболел. Дупло. Врачи за тысячу километров. А терпежу нет. Что он сделал? Достал огромный гвоздь, вбил в дупло и рванул. Начисто выдернул. И никаких йодов. Может, так сделать? Один выход? М-м, душу выматывает! – И, ударив кулаком по кровати, опять закричал радисту: – Связь, связь держать!

– Шумишь, Орлов! На улице слышно. Значит, связь есть?

Вошел майор Бульбанюк, на шинели, на погонах – капли, к козырьку фуражки прилип влажный осиновый лист, рыжие стоптанные сапоги будто только были в воде – росно в лесу. Молча разделся, догадливо опытными глазами взглянул на Бориса, поднял с пола планшетку, кинул на кровать к ногам Орлова, пальцы того перестали шевелиться. Орлов сказал:

– Максимов на месте. Артиллеристы, как видишь, прибыли.

– Так. Твои орудия я видел, – заговорил густым голосом Бульбанюк, почесал широкий нос на крепком бронзовом лице, тронутом оспинками. – Так, Днепр форсируем ночью. Днем ни одной душе на берегу не показываться. И в деревне – тоже. За невыполнение приказа – под суд. – Он сказал это спокойным, размеренным голосом, подумал и прибавил: – Вот так.

– Как на том берегу, майор? Тихо? – спросил Борис, хорошо зная осторожность Бульбанюка.

– Тишине верить, – знаешь, капитан? – все равно что интересным местом на муравейник садиться, – сказал Бульбанюк. – Они тоже не дураки. Не попки. Соображают кое-что.

Взял кружку с табуретки, понюхал, неодобрительно покосился на Орлова, тот, в свою очередь, виновато скосил нестерпимо зеленые глаза на занавеску, за которой храпел его ординарец.

– Серегин виноват? – хмуро спросил Бульбанюк. – Врешь. Сегодня водки в рот не брать. Людей пропьем. Увижу – под суд отдам. Люблю тебя, а меня знаешь. Ясно?

– Подлюги зубы, майор, – проговорил Орлов, теперь уже косясь на радиста. – Замучили.

– У всех зубы. Не зубы заливаешь, а вот это, – Бульбанюк показал на сердце. – А ты это брось! Ясно? Вот так. После дела будем пьянствовать. Фланги, фланги – вот где загвоздка! Дай-ка что-нибудь пожевать. Только без Серегина, ясно? Пусть спит...

Орлов опять томительно посмотрел на занавеску, потом сел на кровати, опустил ноги, неохотно сказал:

– Что-нибудь соорудим...

– Насчет плотов тебе поможем, Ермаков, – кивнул Бульбанюк неожиданно ласково. – Дам людей.

Борис вышел из штаба, испытывая желание не углублять того, что не ясно было ни ему, ни Бульбанюку, ни Орлову. Он знал их обоих. Орлов, вспыльчивый, несдержанный, был известен в полку тем, что ежеминутно разносил пополам с матерщиной правых и неправых; верный себе, открыто презирал разноранговых штабистов и, будучи сам начальником штаба, не раз, злой и азартный, с пистолетом в руке, появляясь среди залегших рот, подымал в атаку батальон, что очень редко делал Бульбанюк. Бульбанюк без артиллерийского огня в атаку не шел, кочку не считал укрытием, закапывал роты на полный профиль в землю; перед боем ходил по траншеям, деловито, как вспаханную землю, щупал брустверы; приседая, подозрительно поворачивая голову и так и сяк, подолгу уточнял ориентиры: было в этом что-то сугубо крестьянское, добротное, будто в поле к севу готовился, а не к бою. Артиллеристов он любил какой-то постоянной, особой, нежной любовью, как это часто бывает у многоопытных, давно воевавших пехотных офицеров. Однако Борису больше нравился своей горячей бесшабашностью старший лейтенант Орлов, чем излишне осмотрительный и расчетливый Бульбанюк, хотя в глубине души он готов был понять вечную и, казалось, неоспоримую на войне правоту майора.

Заря разгоралась над лесами, огненно пылала в гуще деревьев. Красные полосы этажами сквозили между слоями тумана, и деревья, крыши, вся деревушка, казалось, дымилась в огне, сдавленном лесом.

Орудия стояли во дворе под облетевшими осинами; солдаты с помятыми, осовелыми лицами как будто нехотя маскировали щиты, станины; сержанты Березкины, сняв чехлы, протирали панорамы.

Лейтенант Ерошин не без веселой удалости, переступая уже как перед смотром вычищенными хромовыми сапожками, топором отсекал ветви от срубленной, лежавшей на земле ели. А Жорка, стоя рядом, по-прежнему лениво лужгал тыквенные семечки и, простодушно посмеиваясь, советовал:

– Легче, легче. По усам попадете, товарищ лейтенант. Ей-богу, так и отчищаете.

Борис строго крикнул:

– Витьковский, остроты и семечки прекратить! – И более строго обратился к Ерошину: – Почему разрешаете черт знает что? Вы – офицер!

Ерошин, раскрасневшийся, со сбитым ремнем, неловко опустил топор; в губах, в движении бровей – обида.

– Я уже четыре месяца офицер, товарищ капитан.

– Тем хуже для вас!

Почему не лежала у него душа к этому очень молодому, как и Жорка, лейтенанту со светлыми усиками? Силы и уверенности не чувствовалось, что ли, в нем? Или потому, что не любил людей, которые подражали другим?

Солдаты и сержанты Березкины смотрели на них от орудий, выжидая молчали.

– К бою! – внезапно скомандовал Борис. – Танки справа!

Лейтенант Ерошин отбросил топор, сделал шаг к Борису, огляделся поспешно и неуверенно и бросился к орудиям, заплетаясь ногами в длинной шинели.

– К бою! – крикнул он, и голос его странно сорвался.

– К бою-ю! – эхом запели сержанты Березкины.

Тотчас все зашевелилось возле орудий: солдаты засуетились, полетела маскировка, раздвинулись станины, дрогнули и опустились стволы, кто-то упал, зацепившись ногой за лафет, донесся крик командиров орудий:

– Готово!

– Отбой! – скомандовал Борис и махнул рукой.

Быстро подошел, почти подбежал Ерошин, губы обиженно дрожали, серые глаза смотрели неприязненно, прошептал:

– Не доверяете? Да? Вы... зачем... так... издеваетесь?

– Бросьте сантименты, Ерошин, – спокойно оборвал его Борис. – Оставьте обиды для любовной аллеи городского парка. Ну? Успокоились? Трех человек от расчета на постройку плотов. Остальным спать. Отдайте распоряжение – и ко мне в хату. Жорка, води в дом!

Глава шестая

Он уснул, будто упал в мутную, теплую воду и она поглотила его. Не было сновидений, не было даже обрывочных мыслей, отблесков чего-то недоделанного и нерешенного, как бывает всегда после бессонной ночи. Один раз неясная сила беспокойно вытолкнула его из сна. Он приоткрыл глаза: ясное солнце заливало неправдоподобно чистенькую хату, потолок сиял невинно белый, на стене уютно поскрипывали старые ходики: тик-так, тик-так. Чистота, покой, тепло – спать, только спать... И где-то рядом, в высоте, среди этой светоносной белизны – тихое урчание мотора, и до шепота сниженный голос Жорки проговорил за спиной:

– «Рама». Полчаса вертится. Вон, смотрите, на крыло повернулась, высматривает. Теперь жди – через полчаса приведет косяк...

И голос Ерошина – небрежно:

– Вернее всего, не заметит. Ни одного человека на улице. А вообще – дать бы по ней из ПТР. Залпами.

– Ерунда. Она бронированная.

– Спать всем, – негромко сказал Борис и, не поворачиваясь от стены, нагретой, неестественно белой, закрыл глаза.

И снова сон теплой волной подхватил его, а в сознании еще навязчиво и успокоенно, точно бесформенная легкая тень, мелькала мысль: «Чистота, чистота. Значит, опять я в госпитале? Почему я в госпитале?» Но потом, уже каким-то необъяснимым чувством, он уловил настороженное движение в хате, топот шагов, шелестящий шепот, затем громкий голос позвал его – и Борис сразу очнулся от сна. Привычка просыпаться мгновенно не покидала его даже в госпитале.

Сел на кровати, неотдохнувшая голова немного болела. В дымно-лиловых полосах предзакатного солнца увидел одетых в шинели Жорку и лейтенанта Ерошина, рядом с ними топтался связной Скляр; автомат на груди, тяжелые диски в чехлах оттягивали ремень, и все на нем сбито, мешковато – только что бежал, видимо.

– В чем дело? – спросил Борис.

Скляр шаром подкатился к кровати, по старой привычке ординарца подавая Борису фуражку, затем придвинул к постели сапоги, возбужденно заговорил:

– Срочно, срочно вас... экстренно к командиру батальона. Только есть «но». Я проведу вас огородами. «Рамка» летает.

Жорка снисходительно-насмешливо, но и ревниво смотрел на Склера, потом, сказав «извиняюсь», легонько, небрежно оттолкнул его, сам подал Борису шинель. Одеваясь, Борис заметил усмешку на лице Ерошина («Два ординарца вокруг одного офицера возятся!») и сказал резким голосом:

– Пойдете со мной!

– Слушаюсь, товарищ капитан.

– Что?

– Я говорю, слушаюсь.

– Собирайтесь. Поменьше интонаций, Ерошин. Интонация придает иногда иную окраску словам.

Не отвечая, Ерошин пунцово покраснел, пожал плечами, и Борис, чувствуя непонятное для себя раздражение, заметил, что ресницы у него, как у девушки, длинные и загнутые вверх.

– Пошли, – повторил он.

Вышли на крыльцо. В закатном небе над золотистыми соснами, над безлюдной деревней тихо урчала «рама». В осенней выси, там, где мирно алыми перьями таяли легкие вечерние облака, она ныряла, сверкая стеклами кабины, словно купаясь в воздухе, – далекая, опасная, чужая.

– Целый день торчит над головой, бродяга, – проговорил Жорка, следя за «рамой».

Борис мельком посмотрел на небо, насмешливо сказал Ерошину:

– Вы, кажется, хотели стрелять по ней из ПТР? А вы ахните из пистолета. Упадет, как перепел. – И кивнул Склеру: – Ну, в штаб.

Майора Бульбанюка и Орлова в штабе уже не застали – здесь был один радист; оторвавшись от рации, он коротко сообщил:

– На Днепре. Все.

Обоих нашли в лесу, вплотную подступавшем к воде, в свежем песчаном окопчике. Бульбанюк глядел в бинокль на тот берег. Орлов, заметный опухшей щекой, повязанной теперь бинтом, хмурил брови, курил, задерживая дым во рту, и сплевывал. Тут же стояли и сидели на дне окопчика полковые разведчики, и среди них Борис увидел Легостаева с расстегнутой лакированной кобурой парабеллума на левом боку, в яловых офицерских сапогах, того самого, что встретил в штабе полка, и командира минометного взвода – небритого и молчаливого лейтенанта в очках. Легостаев, показывая пальцем на тот берег, простуженно басил Бульбанюку:

– Левее, левее... Вот там они...

– Вызывал, Бульбанюк?

Борис и лейтенант Ерошин спрыгнули в окоп.

– Вызывал. Немедленно вызывал, – Бульбанюк опустил бинокль, стали видны морщины на лбу его, указал в небо: – Слышал?

– Слышал.

Бульбанюк раздумчиво пощелкал пальцами по биноклю.

– Не нравится мне. Очень не нравится. Второй раз кружит. Вот что. Я людей из деревни в лес вывел. Всех. И минометчики здесь. Как улетит эта штучка, ты орудия свои сюда давай. Немедленно. Ясно? Теперь смотри сюда. Нет, подожди. Сперва отдай приказание. Это кто? Твой командир взвода?

Ерошин поспешно козырнул, задел локтем за широкую спину разведчика и сконфуженно заулыбался ему. Разведчик удивленно обернулся, повел огромными плечами.

– Эй, эй, убьешь, лейтенант! Ровно танк двинул!

– Приведите орудия сюда, – недовольным голосом приказал Борис Ерошину. – Все ясно?

Тот, мгновенно перекинув ногу, выскочил из окопа.

Бульбанюк проводил его узкими догадливыми глазами, помолчал некоторое время.

– Экий у тебя усач-гусар, сизые перья! Дров не наломает? Ничего? Не из пеленок? Ладно. Гляди в свой шикарный бинокль. Осмотри весь берег. А потом поразмышляем. Одна голова хороша, две – хуже.

Вся печальная и тихая на закате, водяная даль Днепра отсвечивала темно-розовым в увеличенном приближении бинокля: вот она, в пяти шагах, эта вода. И тоскою, странной, глухой, повеяло от лесов, потемневших на том берегу, где село солнце. Был высок тот берег Днепра, а в межлесье прорезала полосу зари огромная высота, чистая, без кустов и деревьев. Там, на этой высоте, спиной к западу, отчетливым силуэтом, раздвинув ноги, стоял высокий немец, рядом сидели двое; казалось, легкие, прозрачные дымки папирос таяли над их головами.

– Смазать бы их из винтовки, стервецов! – услышал Борис над ухом горячий шепот Орлова. – Уж больно ясно видны!

«Рама», ровно гудевшая над лесами, показалась в высоте над Днепром и, быстро снизившись, с ревом пронеслась низко над вершинами сосен над нашим берегом, ушла, врезаясь в закат. И немец там, на высотке, поднял руку и пилоткой помахал.

Теперь было очень тихо. По-вечернему тихо и пустынно. Стало слышно, как листья в безветренном лесном покое отрывались от ветвей, скользили, падали на свежий бруствер окопа.

– Вот так, – наконец сказал Бульбанюк. – Орудия поставишь здесь.

Или же по своему выбору, дело не мое. Высотку эту на заметку возьми. Там что-то есть. В крайнем случае огнем накроешь. А орудия будешь переправлять последними. После рот. Вот так. Где ж этот твой усач-гусар? Чего мешкает? Прилетят, это уж ясно.

– Он должен успеть, – ответил Борис.

Говорили, что у Бульбанюка есть чутье. Очевидно, это было так. В восьмом часу вечера, ровно через двадцать минут после того, как Ерошин привел орудия на берег и Борис тотчас приказал приготовить их к бою, в темном, сразу вызвездившемся небе послышался булькающий гул, и на той стороне с ясно слышными хлопками взлетели близкие ракеты, выгнулись тревожными красными дугами до середины Днепра. Ракеты взмывали и над той высоткой, где стоял давеча немец, и у самой кромки берега, и из глубины леса справа и слева.

– Запомнить все. Стрелять будем, – сказал Борис.

Он сидел вместе с Ерошиным и братьями Березкиными на бруствере опустевшего батальонного окопа; Бульбанюк, Орлов и разведчики были теперь под бугром, в кустах около воды, куда солдаты, переговариваясь сдавленными голосами, перетаскивали плоты из чащи. Батальон готовился.

Гул невидимых самолетов теперь накаленно дрожал уже над головами. И вдруг в померкшем небе распустились, разбрызгивая свет, и поплыли над лесами первые «фонари». Под телом Ерошина зашуршал, посыпался песок, и коленка его задела ногу Бориса.

– Сейчас будут, – прошептал лейтенант, тихо сползая по брустверу, но сейчас же быстро сел вплотную с Борисом, виновато улыбнулся:

– Не люблю я бомбежку...

Братья Березкины часто задышали; Жорка с интересом смотрел в небо, сощурясь.

– Всем в окоп, – снисходительно приказал Борис.

И тотчас из темных высот неосвещенного неба понесся к земле дико, остро пронизывающий звук. Визг оборвался. Бомбы ударились о землю, толкнули ее, песчаный окопчик, осыпаясь, дернулся, зашевелился под ногами, как живой...

Потом бомбили деревню, неизвестные дальние лесные дороги, несколько бомб взорвалось там, где днем солдаты Бульбанюка строили плоты.

Потом наступила тишина. Последний «фонарь» устало догорал где-то в лесах, и лишь тусклое зарево в чаще – там, где было Золотушино, – слабо боролось с темнотой, а тот берег, черный, затаенный, молчал мертво. Кто-

то облегченно засмеялся в окопе, – кажется, Ерошин: «Еще бы несколько минут...» И, невольно вспомнив радиста, оставшегося в штабе батальона, Борис первым вылез из окопа, отряхнул землю с погон. Сквозь звон в ушах он слышал шорох осыпающегося песка под чьими-то ногами: от берега бежал к орудиям человек; голос Склера раздался из потемок:

– Товарищ капитан! Бульбанюк пошел! Сразу же после бомбежки. Первая и вторая рота... Вам поддерживать!..

«Бульбанюк начал переправу? Он хочет выиграть время. Да, все должно свершиться сейчас. Это понимал осторожный Бульбанюк».

– К орудиям, – скомандовал Борис вполголоса.

– А мне как же?.. Куда, товарищ капитан? Мне?.. – растерянно спросил Склера и просительно затоптался перед Борисом.

– К Бульбанюку, голубчик. Ни шагу от него. К нему!

Он не видел, как молча исчез в темноте Склера, не до него было теперь.

Борис стоял между первым и вторым орудиями (а там ни звука, словно дыхание у всех замерло) и в черноте ночи, слившейся в одно воду и небо, слабо улавливал тихие всплески отплывающих от надежной земли плотов, и вся тьма казалась живой, дышащей. Ерошин шепотом сказал рядом: «Это они... плывут», и Жорка Витьковский еле слышно отозвался из темноты: «Вот бродяги!» – и кто-то сдавленно кашлянул, поперхнулся возле орудий. Все, что жило и шепотом разговаривало на этом берегу, напрягалось в нервном усилии увидеть, что там было на воде, все это уже словно не существовало для Бориса. Было одно горячее, азартное, что владело им и захлестывало его всего: зацепиться в тишине за берег, роты рассыпать по лесу, разведчиков к высотке, взять ее...

И вдруг тишина оглушительно взорвалась и осветилась. Торопливо взлетая, ракеты смешались, змеисто извиваясь в небе и в воде. Все замерцало: свет – потемки, свет – потемки... Лихорадочно красными мотыльками забились вспышки на том берегу. Вперекрест запульсировали струи трасс, отвесно хлестнули по воде сверху. Свет – потемки, свет – потемки... В огнях ракет появилась вода, рассыпанные плоты по быстрине, темные фигурки людей. Свет – потемки, свет – потемки.

Тот берег ожил, загремел, зашевелился, тени деревьев то стремительно падали в Днепр, то разгонялись светом; пулеметные очереди мелькали вокруг плотов, вонзаясь в воду, на плотках вдруг беспорядочно задрожали всплески автоматов, и встречные трассы малиновым веером махнули по тому берегу; потом гулко и сухо забили винтовки. Плоты покрывая эти звуки, с тяжким звоном распустились на воде мины. И следом за ними, туго сбрасывая высоту, сочно лопнул над Днепром бризантный, тяжело

зашлепало по воде, по песку, по стволам деревьев. Наполз едкий запах тола.

– Огонь без команды по точкам! – крикнул Борис Ерошину. – Ну-ка, Вороной, я начну! Нащупали высотку?

Шагнув за станину, он стиснул каменное от напряжения плечо наводчика Вороного, легонько отстранил его, пальцы сжали подъемный и поворотный механизм; панорама, приближая вспышки, выхватила из тьмы ту точку, где на высоте рождались трассы, и Борис краешком сознания почему-то вспомнил немца, что на закате стоял там, прочно расставив ноги.

Короткое рваное пламя вырвалось в темноту, оглушив и обдав горячим воздухом до боли в ушах, орудие резко откатилось, заскрипел песок под брусьями.

– Сошники! – крикнул Борис, снова прикикая к ударившей в надбровье резиновой наглазнице прицела.

Он едва заметил: снаряд плеснул разрывом ниже и вбок от той точки, где пульсировали трассы, на привычную ошупь увеличил прицел, и почти одновременно с его выстрелами справа выбросил в небо огонь минометный взвод, а ближе слепяще мигнуло пламенем орудие Ерошина. Жарко и колюче ударило в щеку сухими листьями, сухой хвоей.

Толчок панорамы. Доворот. Пальцы сжались на рукоятках механизмов. Снаряды развернулись кострами на высоте, погасли, и вместе с ними погасли на высоте вспышки. Борис ждал несколько секунд (секунд, которые короче обычных), в панораму лез свет ракет, трассы спутались – огненными пунктирами летели в разные стороны. И вдруг снова в панораме упорно и живуче заплескалось пламя на высоте. «Крепок этот немец», – мелькнуло в сознании Бориса.

– Четыре снаряда, беглый огонь!

Опять костры возникли на высоте. Чтобы лучше разглядеть их, Борис встал возле орудия и только сейчас увидел, что все отчетливо и ярко иллюминировано ракетами. Ясно различимые плоты сносило течением, возле них бегло рвались мины, один из плотов ткнулся в тот берег; другой, отстав, беспомощно и слепо кружил посередине Днепра – он, очевидно, потерял управление, и частые всплески мин покрывали его.

– Четыре снаряда, беглый огонь!..

На высоте уже молчал пулемет, Борис видел теперь частые разрывы ерошинского орудия на правом берегу, искал глазами новые опорные точки, но там смешалось все – вспышки, трескотня автоматов, трассы ракет. Эти вспышки, свет ракет, удары артиллерийской стрельбы теперь возникли справа – там начал переправу батальон Максимова, но Борис не смотрел туда.

Два первых плота пристали к берегу, сгорбленные фигурки запрыгали от них тенями, заячьими скачками бежали по бугру к возникавшему из тьмы лесу.

Сносимые течением плоты наискосок подгребали к правобережью, и с них все время кричали что-то, очевидно, в сторону того плота, что кружил безвольно на быстрине.

Столбы воды вплотную вырастали возле него один за другим, слабый, неразборчивый крик донесся оттуда.

Борис заметил, как на нем дыбом поднялись бревна и люди, повозки, метнувшиеся лошади отвесно скатились в воду с одного бока. Визгливое предсмертное ржание лошадей прорезало свист мин.

– Накрыло! Чего ж они, а? – громко сказал Жорка.

Борис понимал, что его орудия бессильны достать минометную батарею на том берегу, но все же скомандовал выпустить беглым огнем восемь снарядов в сторону мерцающих над лесом зарниц, потом крикнул возбужденно.

– Передки на батарею! Жорка, лошадей!

Было ясно; Бульбанюк зацепился за берег, завязал бой. Но странно было то, что ракеты уже не поднимались, не дрожали зарницы над лесом – на тот берег сразу упала темнота. И в этой темноте то возникало, то смолкало разрозненное шитье автоматов.

Переправа была спокойной, без единого выстрела, только раз шальной, словно заблудившийся снаряд запоздало ухнул на середине Днепра.

Правый берег встретил густой темнотой, нерассеянными запахами недавнего боя; горьковатой вонью еще теплых гильз, порохом, смешанным с сырой гнилью осеннего леса.

Черный, глухой, – казалось, затаенный, – он возвышался угрюмой стеной до самых звезд: в чаще его где-то отдаленно торопливо простучал автомат и затих.

Сгружали орудия безмолвно, одни ездовые осипшими от волнения голосами понукали лошадей, сводили их на берег.

Борис сел на песчаный навал какого-то окопа, прикрыв полую шинели зажигалку, устало прикурил. Из окопа тянуло удушливым запахом подпаленной шерсти. Борис протянул руку, нащупал на песке кучу холодеющих гильз, рядом – острую металлическую ленту. Он дернул ее – твердое, круглое ударило его по колену. Это был немецкий ручной пулемет МГ, он узнал его по дырчатому кожуху.

С хмурым и чуть безгловым любопытством к чужой жизни, которая

кажется всегда иной, Борис чиркнул зажигалкой и первое, что увидел в глубине окопчика, – сливочно-белую склоненную шею, заросшую белесыми, странно оттопыренными волосами. Узкая пилотка-пирожок была надвинута на залитый кровью лоб убитого: должно быть, в последний миг сознания зажал рану пилоткой. Немец будто спал, уткнув голову в острые колени. «До последнего сидел», – подумал Борис, глядя на убитого и испытывая брезгливую жалость к этим оттопыренным белесым волосам и этим острым коленям, прижатым к груди. Встал, бросил окуроч, крикнул в темноту, где, тихо переговариваясь, возились возле оружейных упряжек люди:

– Скоро там?

– Вы кого тут смотрели, товарищ капитан? – подходя, спросил Жорка. – Бродяга, что ли, убитый?

– Возьми МГ и ленты. Здесь, в окопе. Погрузишь на передок.

– Сделаем, – отозвался Жорка охотно.

Справа в лесу послышались голоса: вдоль опушки к берегу шли несколько человек. Кто-то, возбужденно дыша, говорил с непонятным и отчаянным весельем:

– Как он ахнет, как ахнет промеж плота! Лошади, повозки – в воду! Сержант кричит: «Вплавь, вплавь давай!» Глянул, а у него лицо в крови, живот почему-то руками держит. Отошел так по бревнышкам и спиной в воду упал! Молодой был. Эх, молодой!..

А другой голос, знакомый, ответил слабым криком:

– Артиллеристы? Кто тут? Артиллеристы?

– Они самые, – отозвались из тьмы.

– Капитана Ермакова...

– Скляр? – окликнул Борис. – Ты откуда?

Темным колом подкатилась к Борису круглая фигура связного.

– От Бульбанюка. За вами прислал. Все вперед пошли... Что тут было, товарищ капитан! – заговорил Скляр поспешно и тоже отчего-то весело. – Восемь человек ранило. Орлов впереди с первой ротой. Зубы у него. А как на берег спрыгнули – повязку как рванет: «Ни разу в бой не ходил с повязанной мордой!» Пистолет выхватил: «Вперед, ребята! Всем медали будут, никого не забуду!» – Скляр засмеялся, добавил: – Вам приказано: скорей! Там, на бугре, дорога, немцы драпанули!

– А это кто с тобой?

– Это санитары. Раненых переправлять.

– Ерошин, скоро там? По местам!

Как только орудия вывели по бугру на сжатую лесом, узкую дорогу,

Борис подал команду:

– Быстрым шагом, расчетам не садиться! – вскочил на передок первого орудия, сел возле Ерошина. Но лейтенант молча и далеко отодвинулся; Борис, будто не заметив этого, полез за табаком, спокойно спросил: – Курите, нет?

– Я не понимаю вас, товарищ капитан, – заговорил Ерошин с нотками возмущения в голосе. – Вам, наверно, не жалко людей. Вам приказано нами командовать. Мы не ваша батарея. Поэтому... почему солдат не посадить на станины? Люди, как дураки, бегут за оружием... Я слезу.

Ерошин сделал движение – ногу поставил на ступеньку; Борис властно взял его за локоть, посадил на место.

– Ерошин, вы стихи никогда не писали?

– Нет.

– Так вот. Всю войну мне пришлось воевать рядом с пехотой. Вам ничего это не говорит?

– Нет.

– Это наверняка ваше любимое слово, – Борис усмехнулся, – два раза «нет». Хуже не бывает сонного пехотинца. А мы с вами сейчас почти пехотинцы. У вас никто не дремал на станинах, не падал ночью под колеса орудия?

– Нет.

Борис рассмеялся.

– Вы мне временами нравитесь своим упрямством, Ерошин.

– А вы мне... а вы... нет, товарищ капитан.

– Вот спасибо. Благодарю за откровенность. Это уже мужской разговор.

Подрысил Жорка, притер лошадь вплотную к передку, спросил вкрадчиво:

– Товарищ капитан, часы как у вас – точно ходят?

– А что?

– Часики ручные в окопе нашел. Лежат и идут себе. Вот посмотрите, фрицевские.

Перегнулся в седле, протянул нагретые в ладони часы на металлической браслетке, круглые, сверкнувшие фосфорическим циферблатом. И Борис, вспомнив сливочно-белую склоненную шею, острые, прижатые к груди колени убитого в окопе немца, спросил Ерошина:

– Часы у вас есть, лейтенант?

– Нет и не надо.

– Не бойтесь. Думаете, возьмете вещь убитого – убьет самого? Так, что ли?

– Может быть.

– Мертвецы не самое страшное на войне. Страшно другое... – сказал Борис.

Впереди, в глубине леса, прошел тишину тонкий стрекот автоматной очереди, оборвался и снова прорезал ночь. Ему ответил отдаленный бой пулеметов. Ерошин, как бы не обращая внимания на выстрелы, спросил:

– Что самое страшное?

– Договорим когда-нибудь. За стаканом водки. К сожалению, нам мешают, – ответил Борис. – Жорка, возьми часы. Подари наводчику Вороному. Ручищи у него крепкие! И гамлетизм ему не свойствен. Давай коня!

Борис поскакал вперед по безлюдной, казалось, дороге среди леса, прищипывая лошадь, теперь все время слыша справа и слева за лесом отдаленный бой пулеметов.

Вдруг из темноты закричали приглушенно:

– Стой! Кто такие? Куда леший несет?

И кто-то даже схватил за повод, выругавшись.

– Артиллеристы. Какая рота? Где комбат?

– Впереди...

Борис направил лошадь к обочине, вплотную к лесу, стал обгонять скрипевшие повозки хоззвода, повозки минометчиков, рассеянную, далеко растянувшуюся колонну, – его то и дело вполголоса окликали, – и, наконец, выехал на середину дороги и скоро нагнал нескольких всадников, среди которых были Бульбанюк и Орлов.

– Какая обстановка? – спросил Борис.

– Вот мозгуем над обстановкой, – ответил Бульбанюк густым голосом. – Ты кстати. Давай присоединяйся. Одна голова хорошо... Вот так. Справа, слышишь, пулеметики? Слышишь? Это Максимов. Слева тоже автоматики легонько разговаривают. Но так себе, слабо. Ну, так вот. Похоже, глубоко в тыл к немцам едем. Оборона тут слабенькая, с разрывом была. Вот так проясняется. Ну, нам бой давать надо в районе Ново-Михайловки. А какой пес знает, тихо ли до нее дойдем? Ну? Как же? Может, рванем вправо через лес, да и ударим по флангу? Вот так. Ну, давай размышляй. Тут короче будет.

Бульбанюк замолчал, повернул белеющее лицо к Борису, потом – к нетерпеливо ерзавшему в седле Орлову. Тот поцыкал больным зубом, заговорил не без раздражения:

– Оборону прорвали? Прорвали! Людей положили? Положили! Немцы не понимают сейчас, сколько нас, куда двигаемся и зачем. Пока они в себя не пришли, надо в тылу у них бой завязывать – в Ново-Михайловке или еще глубже... Только так создадим впечатление серьезного прорыва. Так я понял приказ, Бульбанюк? А назад по лесам мы всегда выйдем к Днепру. А если наши с фронта двинут, то и выходить не придется... Соединимся.

– Н-да! Золотая твоя цыганская голова, – неопределенно, но, казалось, чуть снисходительно проговорил Бульбанюк. – А ты как думаешь-размышляешь, Ермаков?

– Думаю, Орлов прав. Чем дальше в лес, тем больше дров, – полусерьезно ответил Борис. – Если же идти к флангу напрямик, вряд ли пройдем без дороги с орудиями.

– Н-да! – произнес Бульбанюк и долго не отвечал, покачиваясь в седле, будто заснул; потом вдруг тихо: – Ну, вроде поразмышляли. Вперед идем... Вот так. Вперед. – И, обернувшись, вполголоса подал команду: – Под-тя-ни-ись, братцы!

– Подтянись! – прошелестело по колонне.

Глава седьмая

Приняв решение, Бульбанюк ехал молча; изредка он задерживал колонну, поджидая разведчиков. Связной от разведки коротко докладывал, что впереди все тихо; офицеры сдержанными голосами отдавали команды, подтягивая роты, и батальон снова двигался по узкой дороге, сжатой черной стеной леса. Старший лейтенант Орлов, то объезжая роты, то вновь присоединяясь к голове батальона, забыв про зубы, развеселился. Курил в рукав, вместе с запахом табачного дыма тянуло от него сладковатым душком самогона.

– Знаешь, капитан, – говорил он шепотом. – Бульбанюк-то у нас странный тип. В санитарях – ни одной женщины. Были две – усрал в полк, твердо убежден, что женщины мешают воевать! Говорят, у тебя, капитан, хорошенькая пепеже в батарее? Слухи верны?

– Если верить слухам, то ты пьяница, бабник и вообще пропащий человек, – сказал Борис. – Верить?

– Врут, стервецы! – горячо проговорил Орлов и рассмеялся. – Ну языки! Пропащий человек! Верно, войну я начал капитаном. Потом на Северо-Западном – плен, два побега и всякая штука. В Сталинграде воевал солдатом. Котельниково брал лейтенантом. А Сумы – старшим лейтенантом. Ну, а Берлин – полковником, пожалуй? – Он засмеялся. – Земля крутанулась для меня в обратную сторону. Неясно, наверно?

– Почти ясно. Но не совсем.

– Полюбилась мне на Северо-Западном фронте одна девчушка. Была в моем батальоне... Девочка совсем. Санинструктор, Верочка. Из Ленинграда. Ну и вышла, понимаешь, неприятная история с одним адъютантом. Терпеть его не мог. Карьерист из молодых, с тепленькими глазами. Приезжает он как-то с приказом взять Верочку в дивизию... Та в слезы. А я сгоряча выскочил из землянки с ТТ. Выпустил бы в него обойму, если бы не командиры рот. Повисли на руках... Я говорю: «Ладно», отдал кому-то ТТ и раза два смазал адъютанта по морде. Ну, а тот раздул историю... Не столько из-за Верочки избил эту тыловую амебу, сколько из-за того, что на подхалимских докладах делал карьеру на войне, стервец! Есть на войне, Ермаков, одна вещь, которую не прощаю: на чужой крови, на святом, брат, местечко делать! Ну, а Верочку забыть не могу... Ох, стервецы, опять зубы! Я сейчас.

Орлов повернул коня, исчез где-то в глубине колонны, и Борис

некоторое время ехал один, приотстав от Бульбанюка, качающегося впереди. Из сырой непроглядной тьмы леса, обступившего эту чужую, незнакомую дорогу, повеяло вдруг на Бориса минутной тревогой, с тоской вспомнились ему холодные, вздрагивающие губы Шуры: «Тебя убьют». Он был уверен в одном: она любит его, и, пожалуй, больше, чем надо. И хотя разумом понимал, что относится к Шуре не очень серьезно, он не чувствовал вины перед ней.

Когда снова подъехал Орлов, дыша самогоном, Борис спросил:

– Ну, а как она?

– Она? – Орлов сразу не понял. – Кто она?

– Ну, Верочка, – грубовато напомнил Борис.

– Она? Меня разжаловали... а она...

– Сто-ой! – раздалась приглушенная команда впереди. Борис и Орлов одновременно припустили рысью лошадей и сейчас же остановили их перед группой всадников, загородивших дорогу. Луна встала над лесом, заливая его холодным синим светом. Несколько пеших людей, придерживая автоматы на груди, негромко и поочередно докладывали Бульбанюку, который, досадливо кряхтя, слезал с лошади. Слез, потер замлевшие колени, с недовольством спросил, выпрямившись:

– Вы что тут меня успокаиваете? Сам слышу, что тихо! Вы мне всю деревню прощупайте по домику! Ясно? А потом докладывайте! Давай, давай вперед!

Бульбанюк сердито посмотрел на луну, повернулся квадратной спиной к разведчикам, лицо было зеленым при лунном свете, жестким. Разведчики прошли несколько метров по дороге щупающими шагами, канули в чащу, угрюмую, сизо-дымчатую, чужую в своем жутковатом осеннем молчании.

– Разреши-ка мне с разведчиками? Все наизнанку выверну, – обещающе сказал Орлов.

– Ты что? – спросил сурово Бульбанюк и приблизил лицо свое к лицу Орлова. – 3-зубы?

– Зубы, Бульбанюк, – виновато ответил Орлов.

– Я т-те покажу зубы, – внезапно рассвирепел Бульбанюк. – Марш к ротам! Развернуть роты в цепь. И вперед. Марш! Артиллерист! – Он обернулся к Борису. – Подтяни-ка орудия сюда. Быть наготове. Слезай. И – за мной. Коней оставить тут.

– Передать: орудия сюда! – приказал Борис по колонне и спрыгнул на дорогу.

Бульбанюк, двигая плечами, торопливо пошел вперед, Борис – следом. Краем выплыв из-за деревьев, луна светила на дорогу, и в чаще угрюмо и

тускло заблестели влажные стволы голых осин. Мертвым металлическим светом был облит весь лес. Печалью, ощутимой утратой несло от шелеста листьев, от холодной накаленной луны, от черных теней заброшенной этой дороги. Куда вело все? Где был конец этой осенней ночи?

Не сказав друг другу ни слова, миновали кусты, увлажненные, нагие, и разом остановились.

Лес кончился... И впереди везде был этот беспокоящий лунный свет: в пустынных полях, в извивах латунно неподвижной реки, за черными стогами, на деревянном мостке и в мертвых стеклах тихой деревни, разбросанной за рекой. Не слышно было ни лая собак, ни скрипа колодцев, не пахло дымом в студеном осеннем воздухе. Все цепенело, молчало под луной, и только стаей одичалых мышей полз ветер в стерне.

– Вот она, Ново-Михайловка, – вполголоса произнес Бульбанюк. – Вот она. Нет, ничего не слышу... И ничего башкой не соображаю. – Сел на пенек, крепко потер двумя руками лицо, скривил губы. – Никого? А? С кем воевать? Ну, братец ты мой, дела-а!..

Задумчиво играя кнутом, Борис вглядывался в безмолвные, холодные от лунного света поля, в эту безжизненную деревню, пусто отблескивающую стеклами, и, смутно ощущая тревогу от странной этой тишины, спросил:

– Разведку подождем?

Через сорок минут разведка вернулась и сообщила, что Ново-Михайловка совершенно пуста, лишь в одной хате нашли полуслепую, лет под восемьдесят, старуху, которая ничего толком не понимала, ничего не могла объяснить, плакала, ползала по хате и все искала какую-то Тасю, и Бульбанюк после мучительного раздумья отдал приказ: занять деревню. Борис почувствовал, что осторожный Бульбанюк растерян.

Батальон вошел в Ново-Михайловку.

Луна вольно и светло заливала пустынные улицы, сквозные, заброшенные сады, беленькую церковку, огромный парк на окраине деревни; в глубине его темнело здание с железной синеющей крышей.

Борис вел орудия в рассыпанной колонне первой роты. Посреди Ново-Михайловки, на перекрестке дорог, рота задержалась, слышались негромкие голоса, и колонна стала обтекать что-то широкое, угольно-черное. Борис подъехал ближе. На перекрестке тяжело и прочно стоял немецкий танк, верхний люк был открыт, из него слабой полосой струился электрический свет. На броне борта мертво лежали четыре темные лепешки – мины. Двое солдат, взобравшись на броню, возбужденно заглядывали в башенный люк, переговаривались:

– Как это он его оставил? Целехонький...

Один смело отодвинул ногой мину, выбил каблуками дробь, спрыгнул на землю, оглянулся, мигая:

– А ну, ребя, кто тут шофера? Садись! Там бутылок вагон и маленькая тележка! Легко воюют!

Было нечто лихое, бездумное, тревожное в этом веселье. Засмеялась пехота – словно заставили; кто-то, вздохнув, сказал: «Дуришь, Матвеев», – и пожилой лейтенант решительно скомандовал, подходя:

– Все от танка!

Борис вернулся к орудиям с обострившимся ощущением неопределенности: очевидно, чувство это испытывали теперь все. С усилием он пытался заставить себя думать, что все идет хорошо, все идет как надо, но не мог этого сделать.

Бульбанюк расположил штаб батальона в просторном, окруженном пристройками белом доме липового парка. Здесь до войны, по-видимому, была школа. Роты окапывались на окраинах. Борис приказал установить орудия в конце парка, зарыться в землю, затем долго стоял на скате холма, глядел на черную громаду леса, где должен быть правый фланг немецкой обороны и которого словно не было.

Потом вошел в штаб батальона.

Штаб занял большую комнату в доме. Тут было уже накурено и людно. На столе бесшумно горели синими огнями немецкие плошки, четко повторялись во множестве зеркал, блестевших вдоль стен. Борис удивился, увидя себя наперекрест отраженным в этих льдистых глубинах зеркал, которые были, вероятно, собраны здесь со всей деревни. Перчатки, черные и узкие, по виду женские, затоптанно валялись в углу. Там, около двух ящичков, небрежно разбросанных яркочерночных обложек журналов и тоненьких книг, выстроились на полу ряды пустых бутылок.

Сквозь махорочный дым слабо пахло духами и чем-то еще – сладковатым, чужим, конфетным.

«Публичный дом, что ли, тут был?» – подумал Борис и, встретив понимающий веселый взгляд Орлова, сел на ящик. Ящик этот был уже распечатан, и там, под разорванным целлофаном, что-то мерцало, тускло переливаясь, как железо. Хмурясь, Борис достал оттуда новенький Железный крест, подбросил на ладони, подумал: «Был штаб или что-нибудь в этом роде», – и швырнул крест в ящик. Поднял глаза и увидел в зеркалах хмуро-брезгливое лицо Бульбанюка, читающего какие-то бумаги.

– Вот дармоеды! На русском языке пишут! – густо проговорил Бульбанюк и, вдвое сложив, крепкими пальцами порвал бумагу. – Все

собрались?

– Все, все, – оживленно сказал Орлов, подвигая к себе красочный журнал на столе.

В комнате уже стало душно. Здесь были командиры рот, молоденький офицер-корректировщик из арtpолка, молчаливый минометчик – лейтенант в очках, радист, штабные телефонисты. Кто искоса, кто мрачно, но все беспокойно оглядывались на зеркала. Было такое чувство, что все обнажено тут, что ничего не скроешь в этой раздевающей людей комнате. И тогда пожилой, обросший щетиной пехотный лейтенант, делая решительный вид, сказал:

– Ну и выбрали вы штаб, Орлов! Как баня!

– Как без штанов стоишь! Верно? – внезапно громко сказал Борис, чувствуя пошлость этой остроты, но понимая, что как-нибудь надо разрядить обстановку для всех, в том числе и для самого себя.

Бульбанюк сурово посмотрел на Орлова, не обратившего на слова лейтенанта никакого внимания, но ничего не сказал ему, заговорил, кивнув командирам рот:

– Коротко. Думаю так. Пока разведка окрест леса прощупает, малость передохнем. Нащупают немца или не нащупают, через часок двинем на север, во фланг немецкой обороне. Завяжем бой. Все. Вопросы есть?

Вопросов не было.

– Можно идти. По ротам. Приказания через связных.

По-прежнему оглядываясь на зеркала, командиры рот молча начали выходить. Вышли и связные в другую комнату. Стало тихо и пусто. И тогда Борис ясно понял, почему угнетала всех и его самого эта неопределенность положения. Батальон искал боя, а боя не было. И это было самое страшное, что могло быть на войне.

Бульбанюк сидел неподвижно, сжав кулаки на столе, тяжелым взглядом глядел перед собой. Не замечал он ни зеркал, ни телефонистов, ни курившего рядом Бориса, думал о чем-то. А Орлов снял фуражку, щуря нестерпимо зеленые глаза, довольный, провел рукой по цыганским, колечками, волосам, потом, листая журнал, фыркнул, одна щека скосилась смешно.

– Стервецы, – сказал он, – одни голые бабы! Тьфу, чтоб тебя черти съели!

Но журнал долистал до конца, заложил руку за шею, с хрустом потянулся, выдохнул воздух: п-х-х-ха, так, что огни плашек замигали. Затем, словно от нечего делать, лениво подвинул к себе какой-то листок на столе, поднял красивые брови, поманил Бориса пальцем:

– Посмотри-ка...

Борис взглянул. На ватмане карандашом была нарисована хорошенькая женская головка – большие внимательные зрачки, нежный, невинный подбородок, полные, как бы обиженно и недоуменно полуоткрытые губы. Внизу наискось – тонким почерком: «Генька!! Помни 21 августа!!!» Борис долго рассматривал этот рисунок, подпись, точно стараясь понять смысл этого, и тихо спросил Бульбанюка:

– Видели?

Словно очнувшись, Бульбанюк неприязненно покосился на рисунок, перевел узкие глаза на Бориса, на Орлова, замедленно сказал:

– Ну так, Орлов, передай командирам рот: удвоить посты. Никому не спать. Ни одному не спать.

И кулаком несильно стукнул по столу: все зеркала согласно повторили его движение.

– Передам, – лениво сказал Орлов и подмигнул Борису.

Он подошел к окну, стал перебирать бутылки, аккуратно читая этикетки, с разочарованным выражением понюхал горлышко пустой фляги.

– Хороший коньяк пьют, сапоги!

Борис, сунув руки в карманы, ходил по комнате от зеркала к зеркалу, из головы не выходило: «Генька!! Помни 21 августа!!!» И то ли оттого, что в зеркалах он все время встречал бесшабашно прищуренный взгляд Орлова, этот Генька, которого он хотел представить себе, вдруг показался ему внешне похожим на Орлова: злой, гибкий, с такими же нестерпимо зелеными, отчаянными, готовыми ко всему глазами.

– Пойду к орудиям, – сказал Борис и надвинул плотнее фуражку.

– Давай, – не шевелясь, ответил Бульбанюк. – Часовых удвой.

Ночь была на переломе – луна уже стояла за деревьями, опустилась над тихой деревней к темным лесам. В побледневшем небе звезды сгруппировались в высоте и казались светлыми туманными колодцами. Парк сухо скребся оголенными ветвями, шумел свежим предутренним ветром – влажно потянуло с низин.

В конце парка Бориса настороженно окликнули:

– Стой! Кто идет?

– Свои.

– Кто свои? – испуганно и грозно переспросил голос.

– Капитан Ермаков.

– А-а, – облегченно произнес часовой.

Борис подошел к первому орудию – запахло сырой землей. Орудие

стояло на чернеющей, среди холма вырытой огневой позиции, станины раздвинуты, орудийный расчет маскировал брустверы; справа и слева чуть слышно скрежетали лопаты – копали ровики. Работали в молчании. Часовой, проводив Бориса до огневой, зашептал в темноту кустов: «Лейтенант, лейтенант» – и тут же отошел, исчез за спиной.

Лейтенант Ерошин встретил Бориса возбужденно, отвел в сторону, отрывистым шепотом заговорил:

– Ничего не понятно, товарищ капитан. Какие-то люди шляются... По дороге вниз... и тут...

– Какие люди?

– Минут десять назад тут какие-то двое прошли. Часовой остановил: «Кто идет?» Отвечают: «Свои». Подошли. С фонариками. Посмотрели. «Окапываетесь? Где офицер?» Я говорю: «В чем дело?» Один спрашивает: «Где ваш сектор обстрела?!» Я спрашиваю: «Кто вы такие?» Другой отвечает: «Я командир третьего батальона, не узнаете? – И насаждает: – Где сектор обстрела, лейтенант? Мне пехоту закапывать нужно». Я ответил, что сектор обстрела еще неизвестен. А он засмеялся: «Ах вы, пушкачи – прощай, родина!» – и пошли вниз. Командир третьего батальона...

– Мальчишка! – с таким внезапным гневом сквозь зубы проговорил Борис, что Ерошин отшатнулся даже. – Никакого третьего батальона здесь нет! Вы поняли? Здесь есть один командир батальона Бульбанюк. Вам ясно? Рас-те-ря-лись! Эх вы!.. Черт бы вас взял совсем!

– Я думал... – пролепетал Ерошин заикающимся шепотом. – Потом думал, что...

– Ничего вы не думали! Ничего! – со злостью оборвал его Борис. – Дали бы им в спину автоматную очередь, если не хватило смелости задержать живыми, вот тогда бы вы думали! Почему не сообщили сразу? Витьковского послали бы за мной! Где он, Витьковский?

– У второго орудия.

– Где вы видели людей на дороге?

– Вон там.

– Никого не вижу!

– Сейчас там никого... нет... Что это? Слышите?

Вдруг красный неопределенный свет возник в небе где-то над парком, и Борис ясно увидел бледное лицо Ерошина и замерших с пучками веток солдат на огневой позиции. Он обернулся. Ракета, как бы сигналив кому-то, описала дугу и упала, казалось, затухая, в дальнем конце парка. Сразу нависла тишина – ноги Бориса словно вросли в землю. Откуда ракета? Чья? И тотчас вторая ракета стремительно взвилась уже впереди, над лесом,

откуда пришел батальон, и пышно рассыпалась в полях. Искры угасли в сомкнувшейся темноте, и снова навалилась тишина.

– Немцы? – шепотом выдавил Ерошин и быстро повернул голову туда, где слева всплыла уже третья ракета.

– Да, это немцы, – сказал Борис. – Колечко видите? Они...

Он не договорил. Кто-то, задыхаясь, бежал по скату холма, цепляясь за кусты, издали звал нетерпеливо и хрипло:

– Лейтенант!.. Лейтенант!..

– Ты, Жорка? – крикнул Борис.

– Товарищ капитан... фрицы!..

– Быстро в штаб к Бульбанюку!

– Товарищ капитан...

– В штаб! Молнией! – крикнул Борис.

Впереди, с околицы, ударили крупнокалиберные пулеметы, белые трассы хлестнули над головой.

Глава восьмая

Эта маленькая полоса земли на правом берегу Днепра, напротив острова, называлась в сводках дивизии плацдармом, больше того – трамплином, необходимым для развертывания дальнейшего наступления. Кроме того, в донесениях из штаба дивизии Иверзева неоднократно сообщалось, что плацдарм этот прочно и героически держится, перечислялось количество немецких контратак, количество подбитых танков и орудий, число убитых гитлеровских солдат и офицеров и доводилось до сведения высшего командования, что наши войска концентрируются и группируются в районе острова на узкой, но все время расширяемой полосе правобережья и готовятся нанести удар. С конца прошлой ночи наступило неожиданное затишье, а известно, что в состоянии даже неустойчивой обороны высшие штабы требуют донесений более подробных, чем в период наступления, и в сообщениях из дивизии все выглядело на плацдарме, естественно, планомернее...

Здесь же, в батарее старшего лейтенанта Кондратьева и в роте капитана Верзилина, точнее, в расчетах двух уцелевших орудий и в двух оставшихся после переправы пехотных взводах, ждали и закапывались в землю. Узенькая – на две сотни метров – ленточка плацдарма тянулась по высокому берегу Днепра, днем просматривалась немцами и простреливалась с трех сторон, ночью ракеты падали и догорали в нескольких шагах от траншей, от огневой позиции батареи.

Две землянки, похожие на большие норы, были вырыты артиллеристами в отвесном обрыве берега; вырубленные в земле ступени вели вверх к орудиям. Днем там лежал один часовой, ночью – два. Здесь, на бугре, орудия были глубоко врыты, стояли без щитов, накрытые камуфляжными плащ-палатками; ниши по бровку набиты снарядами ящиками – все, что удалось за две ночи переправить сюда.

В ясный голубой день, засиявший над Днепром после ночной переправы, все лежали на песке возле землянки, утомленные, грелись на осеннем солнце.

Старший лейтенант Кондратьев сидел тут же в несвежей нижней рубашке, неумело и конфузясь пришивал подворотничок к пропотевшей гимнастерке. Изредка он поглядывал на тот берег. Густо-синяя широта Днепра, облитая солнцем, песчаный остров, желтые леса, белые дороги на далеких холмах за лесами – все это, как в бинокль, на много километров

было видно отсюда. Там, на белых дорогах, не часто появлялись повозки, ползли в пыли, и тотчас со стороны немцев глухо ударяла батарея. Черные кусты разрывов вырастали на холмах, застилая на миг дорогу. Стараясь выбраться из этих кустов, повозки мчались, неслись вскачь, круто забирая в гору, и тогда у всех возникало острое чувство любопытства: накроет или не накроет?

Один раз повозку все-таки накрыло. На том месте, где была лошадь, образовался бугор. Маленький человек соскочил на дорогу и, петляя, побежал в сторону и вверх. И, как в укрытие, вбежал в черный куст разрыва. Больше по нему не стреляли.

Сержант Кравчук, держа на весу ногу и плотно, сильно наматывая на нее чистую портянку, сказал осуждающе:

– Эх, и дураки бывают братья славяне. Все пристреляно, а он лезет. Чего лезет? Стороной объехать нельзя? Немец не полез бы...

– Глупая привычка – авось, – сказал Кондратьев и провел пальцами по влажному лбу. – Да, да...

Он чувствовал себя не совсем здоровым, покашливал, то зяб, то бросало в пот: простыл все же, когда немцы искупали в Днепре в ту первую ночь переправы, когда пришлось вернуться на остров.

Разыгравшееся осеннее солнце было тепло, ласково, он чувствовал это, но оно не согревало его всего: голове было горячо, груди и спине холодно. Грубо тыкая иголку в подворотничок – пальцы не слушались, дрожали, – Кондратьев удивлялся и сердился даже: всю войну не болел, а тут вот на тебе, чепуха какая!..

– А ты не торопись. Сказал, будут у тебя часы, – слышался спокойный и уверенный голос.

Шагах в трех от Кондратьева – головами друг к другу – лежали на плащ-палатке наводчик Елютин и подносчик снарядов Лузанчиков, худенький, как подросток, с золотистым пухом на щеках. Как всегда, Елютин возился, чинил очередные часы: прищурив один глаз, крутил тонким острием перочинного ножа в разобранном механизме. А Лузанчиков глядел на сияющие колесики, на косматое солнце, на песчаный остров за Днепром, потом засмеялся и подул на светлые волосы Елютина. Тот, не поднимая головы, спросил:

– Это что же такое?

– Паутина, – сказал Лузанчиков. – Вон, смотрите, на волосах. С деревьев тянется.

Елютин поднял голову. На берегу, среди синего неба, стояли, светясь каждым листом, рыжие осины, и оттуда, посверкивая тончайшими нитями,

тянулась в свежем воздухе паутина.

– Действительно, – сказал Елютин удивленно. – Ну, ладно, ты вот что. Давай помогай, без всяких глупостей. Или проваливай. И все. Тебя ничего не интересует. Ты как дрозд, Лузанчиков. Все видишь, а на одном не можешь внимания держать.

– А вот интересно: солнце, деревья, а птиц нет. Даже синиц. Почему?

– Перепугали синиц, – мягко сказал Кондратьев.

– Проваливай! – проговорил Елютин сердито. – От тебя толку не будет.

– Нет, я буду вам помогать! – взмолился Лузанчиков. – Честное слово... я могу...

– Пусть, – вмешался Кондратьев и улыбнулся виновато. – Что вы на него сердитесь? Паутина – тоже отличная штука.

Елютин был ленинградец, часовых дел мастер, золотые руки, золотая голова. Если сам Кондратьев, филолог по образованию, стал после сорок первого года понемногу забывать то, что когда-то очень любил, и теперь уже жил, казалось, только войной, то Елютин, парень с шестиклассным образованием, как будто мало вдавался в логику военных событий – все время руки его были в работе.

В обороне почти весь полк сносил к нему немецкие, швейцарские и наши старенькие, случайно и не совсем случайно найденные механизмы, и каждый с радостью и удовольствием уходил, чувствуя ожившие часики на руке. Не ремонтировал Елютин и отказывался только тогда, когда приносили к нему часы карманные. Был раз случай: он наладил и выверил прекрасный трофейный «мозер» для Кондратьева, тот подарил его лейтенанту из полковой разведки. А через неделю лейтенант погиб: разорвалась мина, раздробила карманные часы, и осколки механизма загнало в живот. После этого Елютин несколько дней, ни с кем не разговаривая, пролежал в землянке один, отвернувшись к стене, и наотрез отказывался от работы. Поэтому, не забыв это, Кондратьев иногда чувствовал себя неловко перед Елютиным и виновато улыбался ему.

Кондратьева знобило. Вздрагивающими пальцами он разгладил неровно пришитый черными нитками подворотничок, озябнув, натянул гимнастерку, стал застегивать – ворот был широк на исхудавшей шее.

– Смотри-ка, смотри-ка, товарищ старший лейтенант! Опять какой-то славянин лезет! – закричал Кравчук с досадой. – Соображает?..

Тотчас же раздался сдвоенный взрыв. Будто что-то гулко лопнуло возле ушей.

Кондратьев увидел холодную синь Днепра, на ней далекую песчаную желтизну острова. Около желтизны чернела на воде лодка, мелькали весла.

Возле ушей Кондратьева снова оглушительно лопнуло, потом рядом с лодкой вырос столб воды. Стрелял немецкий танк. Он стрелял где-то тут, на высоте, так близко, что было ощущение, словно в двух шагах рвались ручные гранаты. Лодка кормой пошла к берегу, ткнулась в песок. Из нее выскочили двое, побежали к кустам. Сейчас же в той стороне, где только что стрелял танк, закрипел, заиграл шестиствольный миномет. Разрывы легли в середине острова, над вершинами деревьев пополз дым. Все знали: остров был набит людьми.

– Похоже, наш старшина хотел переправиться, – сказал без улыбки Кравчук. – Ночью, видишь, темно, а днем все удобства: солнышко печет, танки стреляют. Благодать!

– Вечная история, – сказал Деревянко, – дрожит, аж листья падают. Ну, что ты скажешь, Бобков?

Бобков, сидя возле Деревянко на солнцепеке в шинели, накинутой на голое тело, – видна была просторная, сильная грудь, – старательно проверял швы нательной рубахи, говоря:

– Капитана нет, этот бы начесал старшине. На одной ноге вертелся бы. А то отъел морду – об лоб поросенка убить можно... Нашего-то он не особенно боится. На шею сел. Оседлал.

Сказал это веско, но как бы между прочим, занятый важной солдатской работой, и Кондратьев, все услышав, сконфуженно встал, нахмутив болевший лоб.

Снизу от Днепра поднималась Шура с полотенцем, по-мирному перекинутым через плечо. Влажные волосы возле маленького розового уха золотисто светились на солнце, как осенняя паутина. Чистоплотно белел свежий воротничок на тонкой шее; на погонах гимнастерки, плотно сжатой в талии офицерским ремнем и обтянутой на бедрах, блестели капли. Взглянула из-под мокрых ресниц на Кондратьева, серые глаза ясно-прозрачны после ледяной воды, сказала:

– Батюшки, какая неловкость! Попросили бы, что ли, товарищ старший лейтенант. Разве так пришивают подворотничок? И черными нитками насквозь. Снимайте-ка.

Не засмеялась, не пошутила. Тонкими пальцами стала расстегивать пуговицы на груди Кондратьева. От глаз ее и от волос, казалось, веяло непорочной свежестью. Он беспомощно оглянулся на солдат, краснея, дрожа от озноба, легонько отстранил показавшиеся очень холодными ее пальцы.

– Не надо. Прекрасно пришит. – И, покашляв, забормотал: – Вы купались? В такой холод?

Шура, сдвинув брови, кинула вызывающий взгляд на Кравчука: он смотрел на нее пренебрежительно и ревниво.

– Подворотничок, конечно, чепуха, – сказала Шура. – И так сойдет. А вот полежать бы вам надо, товарищ старший лейтенант. А впрочем, может, и это сойдет.

– Нет, пожалуй, нет. Я пойду. Полежу, правда, – торопливо проговорил Кондратьев, зябко ссутулясь, и направился к землянке.

Он боялся и стеснялся Шуры, особенно при солдатах, стеснялся ее внимания к нему, своей грязной нижней рубахи и, чувствуя эту физическую собственную нечистоту, боялся ее женски упругих бедер, белой шеи, ее высокой маленькой груди, облитой гимнастеркой, ее внешней девственной чистоты и легкой вызывающей доступности.

– А может, мне подворотничок подошьешь? – спросил Кравчук Шуру значительно-осторожно. – Я с охотой!..

– Давай уж! – сердито сказала Шура.

– Ну вот, конечно, без охоты, вижу, – проговорил Кравчук. – Сам пришью. – И неожиданно спросил, криво усмехаясь: – К Кондратьеву липнешь? Быстро капитана забыла. Эх ты!

– Что ты понимаешь, свекровь несчастная? – живо сказала Шура, повернулась резко и, покачивая бедрами, стала подниматься к землянкам вслед за Кондратьевым.

– Зачем ты пристал к ней? – заметил Елютин миролюбиво.

– Верно, – произнес Бобков с тяжеловесной серьезностью. – Ей тут среди нас тоже не мед. И не наше дело ей советовать.

– Капитана жалко, – ответил Кравчук, тоскливо глядя в спину Шуре.

Кондратьев между тем подошел к своей маленькой землянке, вырытой на берегу, – соблюдая субординацию, Кравчук приказал отрыть ее отдельно, – и тут же увидел в дверях соседней землянки телефониста Грачева.

– Товарищ старший лейтенант, к телефону!..

– Кто?

– Полковник Гуляев! Немедленно!

В землянке расчета, на ворохах листьев, укрывшись шинелями с головой, спали несколько солдат: отсыпались после беспокойной ночи. Связист Грачев, присев на корточки возле телефонного аппарата, вежливо подул в трубку, сказал:

– Товарищ Четвертый, Шестой здесь. Передаю.

Кондратьев взял нагретую трубку, покашлял от волнения.

– Кто это там кашляет? – строго произнес отдаленный голос

полковника Гуляева. – Ты говори, а не кашляй. Как дела? Почему редко докладываешь?

– Все в порядке пока, товарищ Четвертый.

– Не верю. Харчей нет? Жрать нечего? Докладывай!

Кондратьев молчал, только кашлянул тихо.

– Опять кашляешь? Говори, нет харчей? Что ты, ей-богу, как барышня кисейная? Спишь, что ли?

– Нет, – сказал Кондратьев.

– Потерпите! Ремни затяните. Ночью буду сам. И не один. Старшину вашего... этого... как его... Цыгичко... вплавь погоню. К чертовой матери!

– Плавать он не умеет, товарищ Четвертый, – слабо улыбнулся Кондратьев.

– Не переплывет – туда ему и дорога! Теперь вот что. Здесь все готово. Слышишь, Шестой? Сам поймешь. Ночью папиросники и самоварники у тебя будут. С линией. Сейчас все точки замечай. Заноси. Используй день. Понял, голубчик?

– Понял, товарищ Четвертый.

– Ну то-то. Действуй, мой дорогой!

Все понял Кондратьев из этого разговора: и то, что ночью готовилась переправа и прорыв; и то, что ночью здесь будут артиллеристы и минометчики со связью от батарей; и что занести надо в схему огня все, что можно увидеть отсюда.

Кондратьев поднялся по вырубленным земляным ступеням на самую высоту берега, скользнул, пригнувшись, в траншею. В десяти шагах от берега, в конце кустарника, стояли орудия, приведенные к бою. Солнечно было здесь, на высоте, и тихо. Часовой, разнежась в тепле, лежал на бровке и, свесив голову, прислушивался к чужому разговору в ровике. Ровик этот соединялся с ходами сообщений пехоты и был глубоко вырыт в виде тупого угла. Тут Кондратьев увидел командира взвода управления младшего лейтенанта Сухоплюева.

Младший лейтенант Сухоплюев, необычайно большого роста, в куцей по пояс телогрейке, стоял у стереотрубы, – отросшие каштановые волосы лежали на воротнике гимнастерки, – прогудел юношеским баском:

– Кто там?

И как бы нехотя обернулся, длинное молодое лицо ничего не отразило: был он сдержан, чуть высокомерен, никогда не улыбался.

– Наблюдаете? – спросил Кондратьев, закашлявшись. – Ну как? Тихо?

– Не особенно. – Сухоплюев вынул кисет, сосредоточенно по сгибу оторвал полоску бумаги от книжечкой свернутой немецкой листовки,

которые разбрасывали самолеты ночью.

Впереди, метров на двести, шло голое, без кустарника, поле, покато к немцам, и там, где подымалось оно, темнела еловая посадка. На краю его четко видны были навалы первых немецких траншей, и в одном месте, как вспышки, летели прямо из земли комья: копали что-то. Немец в зеленом френче, застегивая брюки, шел вдоль посадки, спокойно шел: с нашей стороны по нему не стреляли. Дошагал до того места, где копали, поглядел в нашу сторону и спрыгнул в траншею. Слева от посадки начиналась дорога – желтела, извиваясь до леса, скрывавшего Ново-Михайловку и Белохатку.

По дороге этой, подымая пыль, на рыси неслись четыре немецкие орудийные упряжки. Они приблизились, стали видны тяжелые короткохвостые першероны, немцы муравьями облепили станины. Упряжки скрылись за елями, мгла пыли долго висела над дорогой. Потом справа от посадки появилось одно приземистое, с обтекаемым щитом орудие, уже без упряжки. Немцы на руках выкатывали его позади траншей; трое отошли к посадке, начали рубить штыками ветки, закидывать ими орудие. Никто не стрелял по ним.

Кондратьев сел на дно окопа, попросил:

– Дайте, пожалуйста, схему огня.

На каллиграфически вычерченной Сухоплюевым схеме Кондратьев увидел аккуратно обозначенные линии немецких траншей, пулеметные точки, танки в еловой посадке, минометные батареи в овраге за дорогой; он вынул карандаш, стал отмечать на схеме немецкое орудие. Рука Кондратьева дрожала, карандаш рвал бумагу.

– Вы мне всю схему испортили! – вдруг вытаращив на Кондратьева молодые независимые глаза, заговорил Сухоплюев. – Сказали бы, сам сделал! Хоть все снова перечерчивай! – И сердито отобрал схему, начал стирать резинкой.

Кондратьев пробормотал сконфуженно:

– Пожалуйста, не сердитесь. Только что звонил полковник Гуляев...

И, не сдерживая стук зубов, сутулясь и засовывая руки в рукава шинели, Кондратьев передал суть недавнего разговора со штабом полка.

– Что это вы? Холодно вам? Или нервы? – настораживаясь, спросил Сухоплюев.

– Шут его разберет, немножко. Вы до Ново-Михайловки и Белохатки по карте точно прицел вычислите. Ночью там начнется. Мы поддерживаем. Все решится ночью... – Кондратьев закашлялся.

– Что-то с вами не в порядке, – подозрительно сказал Сухоплюев.

– В самом деле ерунда собачья, – ответил Кондратьев и встал. – Ну, я пойду... Ночью все решится...

Кондратьев лежал в землянке, никак не мог согреться. Лежал, не сняв шинели, на сухих листьях, укрывшись с головой брезентом. Голова горела, была горькая сухость во рту, и все время нестерпимо хотелось пить, но он не мог сделать над собой усилие, не мог встать. «Сейчас, я сейчас, – думал он, – вот сейчас я открою глаза, встану и напьюсь... Вот только полежу немного...» И непонятно было то, что за землянкой с последней яркой силой светило осеннее солнце и солдаты грелись, скинув шинели, разувшись, сидели на солнцепеке.

Голоса какие-то. Смех. Тишина. Потом опять голоса, смех. О чем там можно говорить? Молчать, молчать... Все ждут ночи. Ночью все решится... Где капитан Ермаков? Где Шура? Кравчук где? Подготовить все цели. Вот и все. Какая чепуха! Как легко, мягко лететь в густую и, как пух, невесомую темноту... Напиться бы только воды, и все будет хорошо... Холодной, ледяной воды, ломящей зубы. Сейчас надо встать и напиться...

Освещенный огнями вестибюль метро. Из подъезда валит желтый морозный пар, клубящийся, пронизанный огнями. Люди спешат, бегут в мохнато-заснеженных пальто с поднятыми меховыми воротниками, скрипит снег. У всех облепленные белыми пластами покупки, отражения праздника на лицах. И смех другой – веселый, счастливый, влюбленный. Новый год, что ли? Он ждет Зину в вестибюле Арбатского метро, милую худенькую Зину с бирюзовым колечком на среднем пальце и детским уменьем растягивать слова. Лицо у нее юное, тоненькие серьги ласково сверкают, качаются в нежных мочках ушей, глаза ясно-зеленые, открытые, улыбаются ему, а носок опущенного мехом ботинка на сильной ноге нервно старается продавить льдинку на тротуаре. И он тоже каблуком давит этот ледок...

«Встать, встать... напиться бы... Несколько шагов до Днепра... В жизни бывает так: можно любить, в сущности, чужую тебе женщину, много лет любить... Но за что я любил ее?»

– Милый, милый! Какая же я Зина? Да разве так согреешься!

Кто-то расстегивал на его груди шинель, провел мягкими прохладными пальцами по лицу, и Кондратьев, в жару, чувствуя горячую горечь слез в горле, смутно и радостно отдаваясь этим рукам, подумал: «Кто же это? Шура? Зачем она здесь?»

– Выпей это. Жар пройдет. Ну вот. Молодец. Просто молодец. Бедный мой! А теперь обними меня. Крепче. Так будет теплей!

Чьи-то руки обвили его шею, и тотчас упругое тело прижалось к нему,

и губы, прохладные, легкие, стали целовать его закрытые глаза, и голос, знакомый, близкий, растягивал слова:

– Бе-едный мой. Сере-ежа. Будет тепло... Ты прижмись ко мне и лежи спокойно...

Он вдруг очнулся от этого голоса и сразу пришел в себя.

Темно было и влажно, пахло осенними листьями, и лиловая узенькая стрела света пробивалась сквозь плащ-палатку, завесившую выход, остро рассекала потемки.

– Это ты? – тихо, слабым голосом спросил он. – Это ты?

– Это я... Лежи, лежи, ни о чем не думай, – прошелестел возле его губ быстрый успокаивающий шепот. – Я с тобой буду. С тобой... Ну, хорошо тебе? Тепло? Согрелся?

Но он не мог согреться.

– Милая ты, чудесная, – шептал Кондратьев, стуча от озноба зубами, робко обнимая Шуру, и стал целовать ее пальцы. – Зачем это? Добрая... Чудесная... А как же Борис?..

Она крепче прижалась к нему грудью, глядя его щеки, его шею.

– Он не любит меня, Сережа. Разве он меня любит? Всю душу без слез по нему выплакала... а с тобой спокойно... Как с ребенком... Ну, обними меня. Ты кого-нибудь любил?

– Не знаю...

– Ну, совсем как ребенок... Как ребенок...

Бред это был или явь? Она растягивала слова, как Зина. Было темно, горячо, он не видел лица Шуры, ее глаз, а она с торопливой нежностью ласкала его, и от близости с этой женщиной хотелось ему плакать и говорить что-то разрывающее душу, чего невозможно было сказать: он просто был болен и слаб.

– Ты чудесная, чудесная... Чистая... Ты удивительная, чистая, – шептал он и, найдя, целовал ее ладонь.

– Тебе сколько лет? – спросила она.

– Двадцать четыре.

– Неужели ты никого не любил?.. Никого?

Он уснул. А она, посидев немного возле него, вышла из землянки. Ни одного солдата не было вокруг. Стояла тяжелая вечерняя тишина. Весь Днепр был оранжевым, накаленный закат на половину неба подымался, горел над берегом, и вычерчивалась там черная паутина застывших в этом свете ветвей.

Вдруг, со свистом вынырнув из заката, низко над водой пронеслись два «мессершмитта», вонзаясь в лиловый воздух над лесами. Там застучали

зенитные пулеметы и рассыпались в небе трассы. А Шура было горько и нежно.

Глубокой ночью Кондратьева разбудили. В теплую землянку ворвался холод, стук пулеметов, отсвет ракет, плащ-палатка со входа была сдернута. Кондратьев лежал весь в поту, все тело болезненно расслаблено.

Голос Бобкова кричал в землянку:

– Вас срочно к полковнику Гуляеву! На НП. Товарищ старший лейтенант...

– Прибыл? – еще ничего не понимая, хрипло спросил Кондратьев. Он вылез из землянки, потянул из нее шинель. Весь берег и Днепр освещались ракетами, над головой проносились трассы.

– Только что! Заваруха тут была! Неужто не слышали? Так спали? – прокричал сквозь дробь пулеметов Бобков.

Кондратьев смущенно покашлял, не попадая в рукав шинели, внезапно вспомнил все, спросил виновато, негромко:

– Где Шура? Не знаете?

Бобков ответил:

– Тут офицера одного при переправе ранило. Так она с ним. – И указал куда-то вниз.

Вместе с Бобковым поднимаясь к орудиям, покачиваясь от слабости, Кондратьев с замиранием сердца думал о недавнем бредовом счастье (было оно, конечно, было!), и не хотелось верить ни в щелканье пуль о стволы сосен, ни в частые взлеты ракет, ослепившие его на берегу, ни в близкий треск пулеметов.

Но в первой же траншее пришлось пригнуться так, что железный крючок шинели впился в горло: головы поднять было нельзя. Проходя мимо орудий, Кондратьев увидел при свете ракет, что расчеты лежат на земле и снарядные ящики раскрыты. Осторожно звенели ложки о котелки: по-видимому, старшина прибыл.

Глубокий окоп НП младшего лейтенанта Сухоплюева был тесно набит знакомыми и незнакомыми артиллерийскими офицерами. Все они, возбужденные недавней переправой и близкой опасностью, почти в голос переговаривались между собой, жадно курили в ладонь. Двое радистов монотонно отсчитывали – настраивали рации.

Полковник Гуляев, грузно расставив ноги, стоял посреди окопа, лица не было видно, надвинутый и словно мокрый козырек фуражки зажигался розовыми шариками – отблесками ракет.

– Спали? – недовольно спросил он Кондратьева. – Все проспите!

Санинструктор сказал: ты болен. Болен? Что молчишь?

– Был немного. Сейчас лучше.

– Ну так вот. – Полковник вытолкнул откуда-то из темноты к Кондратьеву старшину Цыгичко, проговорил: – Этого вояку на твое усмотрение. Хочешь – казни, хочешь – милуй... Он тебя накормит, сукин сын!

– Вы что же, Цыгичко? – тихо спросил Кондратьев. – Как вам не совестно?

Цыгичко стоял, вобрав голову в плечи, нелепый в кургузой кондратьевской шинели, испуганно бормотал:

– Не мог, товарищ старший лейтенант... Не мог... Я ж тоже под огнем был. С саперами был. Вчерась ночью. Вы же знаете, товарищ старший лейтенант...

– Не мог? А люди могли быть сутки голодными? А, братец ты мой! – спросил Гуляев резко. – В пехоту! В роту Верзилина. Как раз у него мало людей. Верзилин! – крикнул он через плечо. – Зачислить старшину Цыгичко рядовым в роту. И дать ему винтовку, сукину сыну!

И тотчас из глубины окопа ответили:

– Слушаюсь, товарищ полковник.

Старшина Цыгичко тяжело, словно кто-то сзади по ногам ударил, качнулся к Кондратьеву, схватился двумя руками за полу его шинели.

– Не виноват я, не виноват... Щоб я детей своих не бачил...

– Э-э, голубчик, у всех дети! – грубовато сказал Гуляев.

– Что вы, что вы? Как не стыдно! – растерянно заговорил Кондратьев, неловко пытаюсь отнять руки старшины, но пальцы Цыгичко вцепились в его полу и словно закаменели. – Товарищ полковник... я прошу. На мою ответственность...

Полковник Гуляев, брезгливо поморщась, повысил голос:

– Марш в роту, Цыгичко! Кто вы, мужчина, советский солдат? Или старая баба? Капитан Верзилин, проводи-ка воина в роту!

Не обращая более внимания на Цыгичко, полковник Гуляев уже смотрел на ярко озаряемую ракетами черную полосу посадки; артиллерийские офицеры, присев под плащом и светя фонариком, стали разглядывать схему огня. А Кондратьев не мог успокоиться, сворачивал самокрутку, пальцы дрожали, и хотелось сказать какую-то резкость, заявить о никому не нужном на войне самодурстве, однако в то же время он хорошо понимал, что не скажет этого. И все же Кондратьев сказал, преодолевая хрипотцу в голосе:

– Вы напрасно, товарищ полковник... Он не хотел.

– Слушай, комбат! – жестко перебил Гуляев. – Дело идет о судьбе наступления, а ты мне голову морочишь сантиментами! Постреляет из винтовки, в атаку походит, сухарики погрызет, поймет, что такое война, на своей шкуре. Так вот что. Максимов уже завязал бой. Полчаса назад. Выбрось чепуху из головы и слушай!

Только сейчас сквозь бесконечное шитье близких пулеметов, сквозь хлопки и щелканье немецких ракет слева и впереди Кондратьев услышал, как из-за тридцати земель, отдаленные, глухие, как бы неровно пульсирующие раскаты. Началось?.. Там – началось?..

– Радист, связь! Связь с батальонами! – закричал Гуляев. – Что у вас, рация или ночной горшок?

– Ромашка, Ромашка, Ромашка... Плохо слышу... Плохо слышу... – речитативом доносился голос радиста. – Плохо слышу...

Все замолчали в окопе. С визгом проносились пулеметные очереди над головой.

Радист, медленно разделяя слова, доложил:

– Товарищ полковник, Максимов у окраины Белохатки. Встретили сильное сопротивление. Потери: двенадцать человек и одно оружие. Танки. Есть опасность окружения. Готовлюсь к атаке. Ждите сигнала.

– Ясно! Связь с Бульбанюком! Быстро!

Опять молчание. Теперь все офицеры тесно сгрудились вокруг Гуляева. Телефонисты, проверяя линию, еле слышно переговаривались с тыловыми батареями. И только радист в глубине окопа торопливо и отчетливо повторял:

– Волга, Волга, Волга... Волга, Волга, Волга... Товарищ полковник, с Волгой связи нет!

– Еще вызывайте! Вызывайте!

– Волга, Волга, Волга... Волга, Волга, Волга... Волга, Волга, Волга... – звучало в ушах Кондратьева, и он думал: «Что там у Бориса? Что?»

И после паузы:

– Товарищ полковник, с Волгой связи нет!

– Как нет? Что вы голову морочите? Когда я слышу слева бой! Была связь! Вызывайте! Вызывайте!

– Волга, Волга, Волга... Волга, Волга... Товарищ полковник, Волга молчит.

– Та-ак! Держать связь с Максимовым! Телефонист, штаб дивизии. Быстро!

Офицеры расступились перед полковником. Он опустился на дно окопа, выхватил трубку из рук телефониста, произнес коротко:

– Иверзева!

Молчание.

– Товарищ Первый, докладывает Второй. Максимов у Белохатки. Есть опасность окружения. С Бульбанюком связи нет! Полагаю, для связи надо послать людей. Поздно? Почему поздно, товарищ Первый? Да, да! Идут бои. Слышно. Что вы говорите? Отзываете? Кого? Всех? Меня? Не слышу, товарищ Первый!

– Товарищ полковник! – закричал радист. – Ромашка пошла. Максимов пошел! Огня! Огня! Огня просит. По Белохатке огня!

– Ракеты! – сказал кто-то из офицеров.

В ту же минуту Кондратьев заметил далеко слева над лесами круглые неясные пятна – они выплывали в небо и мгновенно гасли там. Четыре ракеты. Короткое затухающее мерцание – и вновь четыре мутных пятна возникли в небе. Это был сигнал Бульбанюка... А может, немецкие это были ракеты?

– Огня! Максимов просит огня! – повторял радист. – Передаю! Огня! Огня! Просит огня!

Гуляев опять заговорил в трубку:

– Товарищ Первый, Максимов пошел. Сигнал Бульбанюка. Просит огня! Что-о? Не слышу! Не слышу! Что-о! Не открывать огонь? Почему? Вы не поняли. Батальоны пошли, просят огня! Сигнал! Я открываю огонь! – И, прикрыв ладонью трубку, командовал: – Артиллеристы! Из артполка! Давай!

– Цель номер четыре! – запели голоса офицеров.

– Отставить? Что-о? – закричал Гуляев, порывисто наклоняясь к аппарату. – Не могу понять! Не открывать огонь? Это ваш приказ? Что? Мне?.. В дивизию?..

И командовал вдруг охрипшим голосом:

– Огонь не открывать! Огонь не открывать!

А за лесами одна за другой, как бы требуя и настаивая, рождались туманные вспышки ракет, и радист безостановочно повторял:

– Огня! Огня! Максимов просит огня!

Никто ничего не понимал... Кондратьев чувствовал, что у него холодеют кончики пальцев, трудно и тесно стало дышать. Почему, почему, почему не открывать огонь?

Глава девятая

Где-то слева в тумане сверкнула искра, как будто там ударили по кресалу, и в глубине парка с опадающим грохотом разорвался снаряд. Из низины щупающими очередями забили пулеметы.

– Идите ко второму орудию, – приказал Борис Ерошину. – Вдвоем нам делать тут нечего. И запомните: без приказа не стрелять!

– Кольцо, да? – подавленно спросил Ерошин. – Неужели кольцо?

Он подчеркнуто старательно козырнул и зашагал через кусты, странно пружиня ноги, не пригибаясь, как будто смелостью этой хотел искупить недавнюю свою растерянность.

Борис раздраженно крикнул:

– Бегом!

Ерошин ускорил шаг, побежал. Бориса раздражали его неопытность, наивная, неуклюжая молодость, его неумение понимать все с первого слова.

Немецкие пулеметы, уже не переставая, работали в низине, трассы летели оттуда, врезались в землю возле площадки орудия. Стрельба в низине усиливалась, в нее влились тонкие строчки автоматов; тяжелые мины стали рваться на улочках деревни – дважды со скрежетом сыграл шестиствольный миномет.

Вся низина и река в ней были затянуты серым туманом, там происходило движение: впереди, как бы оцупью, приближаясь, тихо рокотали моторы то ли автомашин, то ли бронетранспортеров. Этот же звук, и выстрелы, и угадываемое на слух движение были справа и, кажется, слева, за спиной, и Борис понял, что это действительно суживалось колечко, через которое пролезть надо было головой. Как ни был расчетлив Бульбанюк, как ни считался он осмотрительным, свершалось то, что не было predetermined.

– Это не танки, – сказал один из сержантов Березкиных (не то Николай, не то Андрей, Борис так и не научился их различать), – танки не так... – И быстро посмотрел на Бориса – в глазах светились горячечные огоньки.

Никто ему не ответил, все смотрели в туман, туда, где был мостик. Эти почти незнакомые Борису люди в запачканных глиной шинелях, с воспаленными лицами вдруг ощутимо ближе стали ему сейчас; двое солдат ненужно протирали чистые снаряды, большие руки, натруженные за ночь,

тряслись, наводчик Вороной, молчаливый человек лет сорока, оглядывался на Бориса вопросительно и пристально.

Торопливо сдваивая, заработала скорострельная пушка. Прерывистые трассы возникли из тумана уже у самой реки; там, где был мостик, низкий силуэт выдвинулся к берегу, и второй появился в белой мгле рядом.

– Бронетранспортеры, – сказал Березкин. – Это они...

Смутные живые фигурки забежали по берегу, близко рассыпались автоматные очереди, несколько человек, разбрасывая на бегу вспышки, тенями замелькали через мостик. И тотчас Борис услышал, как зачастил, захлебываясь, «максим» на околице.

Ду-ду-ду... а-а-а! – послышалось оттуда смешанное и протяжное.

– По левому бронебойным! Наводить точнее! Огонь!.. – крикнул Борис, ощущая жгучий азарт: «Смазать, смазать его с первого снаряда».

Он не смазал бронетранспортер ни после первого и ни даже после второго снаряда – бронебойные, прочерчивая линии высоко над силуэтами, терялись в тумане. Туман изменял расстояние. Борис трижды снижал прицел и, когда после шестого снаряда заметил, что там, возле мостика, туман порозовел, крикнул с злым весельем:

– По... правому!..

Но расчет медлил. Сдвинув фуражку со вспотевшего лба – звенело в ушах, – Борис оглянулся и увидел: Березкин, только что стоявший в двух шагах от него, почти вплотную к орудию, сидел на станине, позеленев лицом, одними белыми губами странно улыбался, зажимая согнутой окровавленной рукой плечо, точно нашел и испуганно прихлопнул что-то.

– Что? Задело? – крикнул Борис. – Задело? Дуй в штаб батальона! Там – перевязку!

Он уже не обращал внимания на Березкина, который, не отнимая руки от плеча, бежал по парку, и, увидев, что справа движущийся силуэт выбрасывает пучки огня и белые пунктиры, перекрещиваясь, летят прямо в лицо ему, крикнул:

– По правому!.. Два снаряда, огонь!..

У мостика розовое дважды смешалось с ярко-красным и сразу опало.

– Огонь! Три снаряда, ог-гонь!..

Теперь ему показалось, что впереди все стало багровым – не то мостик горел, не то бронетранспортеры. Гулкое дудуканье крупнокалиберных пулеметов уже не заглушало беспорядочной автоматной трескотни, и это «ду-ду-ду» было справа и слева в тумане, но не там, около мостика.

Что-то весомо задело по козырьку Бориса, и он, удивленный, увидел

возле него срезанную пулей мокрую веточку.

– Товарищ капитан!.. Пригнитесь! Пригнитесь! Не видите?

Сзади сильно дернули Бориса за рукав, он быстро повернулся и в упор встретился со встревоженным широкоскулым лицом Жорки.

– Ты что?

– Пригнитесь, товарищ капитан! Сейчас Бульбанюка возле штаба обстреляли. Снайперы где-то в деревне сидят. По парку бьют! – И Жорка возбужденно засмеялся. – К вам бежал – лупанули, бродяги, по мне. Со всех сторон бьют!..

– Как у Бульбанюка?

– Колечко, товарищ капитан! Сейчас огня из дивизии собирается просить, а Орлов говорит: рано!

– Верно, пожалуй, рано! Пусть увязнут. Иначе не стоило заваривать всю кашу, – ответил Борис, ладонью вытирая пот на лбу, на щеках.

– Смотрите-ка! Никак наша пехота драпанула? – проговорил полуутвердительно Жорка и лег грудью на бруствер, длинно сплюнул: – Ей-богу, огонь бы по ним открыл!

Было видно отсюда, из парка, как от берега реки, поочередно возникая, бежали к деревне размытые в тумане фигурки, разбрызгивая светящиеся пунктиры в разные стороны, а с того берега доносилось лихорадочно и глухо: ду-ду-ду... ду-ду-ду-ду...

– Какой... «наша»! – сказал Борис и выругался. – Вороной! Видишь? Четыре снаряда... беглый... огонь!

Разрывы легли перед этими фигурками, туман смешался с дымом – ничего не стало видно. И вдруг ближе разрывов, шагах в ста от орудия, как из земли выросли несколько человек – бежали, низко опустив винтовки, нагнув головы, прямо на огневую позицию к окраине парка.

– Говорил, наши драпают, – повторил Жорка и вскочил на бруствер. – Куда они? Стой, славяне!..

В это же мгновение, опаленный внезапной злостью к этим бегущим людям, Борис, перекосив лицо, прыжком перемахнул через бруствер, бешено выхватил ТТ, бросился навстречу им со стиснутым пистолетом в потной руке, закричал непрекословно и неумолимо:

– Сто-ой! Наза-ад! Рас-стреляю первого! Наза-ад!

Жорка, бледный, с острым, отрешенным выражением лица, бежал в двух шагах за капитаном, щелкнув затвором немецкого автомата. Люди не останавливались. Борис увидел дикие пустые глаза, жадно, широко открытый от дыхания рот у переднего солдата, вскинул руку.

– Сто-ой! – закричал Борис и выпустил две пули над головой

переднего. – Куда драпаете, защитники Родины! Наза-ад! В траншею! Наза-ад!

Солдаты остановились. Передний, судорожно глотая слюну, затравленно озираясь, – глаза по-прежнему пустые, с поволокой дикого страха, – сипло выдавил:

– Сбоку обошли... со спины обошли... Погибель нам тут... Завели... – и, сморщив лицо, зарыдал лающим, хриплым рыданием обезумевшего человека.

– Наза-ад! – злобно повторил Борис, и в ту же минуту горячий воздух толкнул его в спину, забив звоном уши; это стреляло его оружие, и он крикнул, не слыша своего голоса: – Ну? Один ты, что ли, тут! В траншею! Жорка! Проводи-ка их. Бегом наз-ад!

– А ну! – Жорка с решимостью поднял над животом автомат, кивнул в сторону реки белокурой головой. – Потопали, бродяги! Давай!..

Солдаты столпились и вдруг, низко пригнувшись, горбя спины, неуверенно побежали в ложину, к реке, растаяли, исчезли в тумане.

Разгоряченный, потный, Борис, на ходу вталкивая ТТ в кобуру, добежал до огневой. В этот момент оружие снова ударило беглым огнем, и когда из дымящегося казенника вылетела последняя стреляная гильза, Борис уловил боковой, тревожно ищущий взгляд наводчика Вороного, устремленный на деревню. Снаряды вздернули землю на берегу реки, где опять двигались фигурки, и неясный крик «а-а-а!» доносился оттуда. Крик колыхался и рос, мешаясь с тяжелым, нарастающим стуком скорострельных пушек и пулеметов на окраинах.

Борис успел заметить, что в низине, на восточной окраине, веселыми, жаркими кострами пылали две соломенные крыши, там стрельба была особенно частой, и над горящими крышами в утреннем небе стремительно и вертикально падала ракета...

И прежде чем Борис спросил у наводчика Вороного, сколько было ракет, Жорка Витьковский, перескочив через бруствер на огневую, крикнул обрадованно и возбужденно:

– Ракеты, товарищ капитан! Бульбанюк! Сейчас наши дадут! Сейчас они, как тараканы, завертятся!

Трудно дыша, он опустил на снарядный ящик, взял горсть сырой земли, приложил к потному лбу, затем, сияя голубыми глазами, сообщил, как о чем-то веселом:

– А по пехоте всамделе с трех сторон чешут! Эх, сейчас я баня начнется, а, товарищ капитан?

– Сто-ой! – скомандовал Борис.

И, улавливая короткое затишье, он сквозь звон в ушах, сквозь выстрелы прислушался, пытаясь различить характерный шорох наших снарядов, далекий перестук начавшейся там, за лесом, артподготовки. Но он ничего не услышал.

«Сигнал, что ли, не виден оттуда? – соображал он. – Надо вызывать дивизию по рации. По рации! Пора! Самое время. Самое время!»

В ту же минуту четыре ракеты вновь торопливо взметнулись в небе в стороне пожара и частой стрельбы и бессильно угасли, оставляя дымные нити...

И снова ракеты.

– Не видят они! Слепые! – закричал Жорка с досадой. – Лопухи слепые!

Пулеметные очереди остро резанули по брустверу, по стволам деревьев, за спиной трескуче защелкали разрывные. Что-то шевельнулось, зазвенело у ног Бориса. Посмотрел: пустая гильза была пробита в двух местах.

Вороной сказал:

– Снайпера вроде из деревни бьют.

– А может, этот бродяга на церковке сидит? – Жорка быстро привстал, сузил глаза: – Может, проверить, а? Ведь житья не даст, гад. А, товарищ капитан?

Борис хмуро и молча бросил взгляд на Жорку, отшвырнул ногой гильзу. Жорка, понимая кивнув, перекинул автомат через плечо, подмигнул в пространство: «Проверить, а?» – и, перешагнув бруствер, боком двинулся в кусты.

Борису мучительно непонятно было, почему дивизия молчала, почему не открывала огня. Неужели не видят ракет? Есть ли связь с арtpолком? Что с батальоном Максимова? Было ясно другое: немцы стягивали кольцо, стрельба усиливалась.

Туман рассеивался, сдавленное тучами солнце как бы нехотя скользнуло над желтыми полями за рекой, и все то, что скрывалось недавно белесой мутью, теперь проступило отчетливо.

Вдоль опушки леса, за полями, неподвижно полукругом стояли танки, и немцы в черном спокойно ходили там. Пересекая желтеющую меж овсяных копен дорогу, по которой ночью вышел из приднепровских лесов батальон, толчками ползли четыре тупоносых бронетранспортера. Две машины горели около мостка. Треск очередей рвал воздух возле самой околицы. На крайних домиках как-то охотно занимались соломенные крыши, пылали дымно и жарко.

Весь расчет, пригнувшись, глядел то на танки, то на бронетранспортеры – одни, умоляя Бориса глазами, незащищенно оглядывались, иные рукавами шинели вытирали струйки пота на осунувшихся лицах.

Борис понимал, что танки ждут, прикрывая бронетранспортеры, понимал и то, что несколькими снарядами он может расстрелять эти ползущие машины, но сразу же огнем откроет орудие, и исход был ясен ему.

Но когда он подумал так, передний бронетранспортер с ходу врезался радиатором в черные вихри оружейных разрывов, выросших на дороге, – колеса сползли в кювет. Это стрелял расчет Ерошина.

– Быстро к орудию Ерошина, вот вы! – Борис взглянул на первого попавшегося на глаза солдата. – Передайте: заранее не открывать орудие танкам – не стрелять. Ждать команду!

Тот закивал, попятился от орудия, а когда побежал по опушке парка, то неуклюже покачнувшись, наступив на распутившуюся обмотку, упал. В эту же минуту, почти натолкнувшись на него, из-за кустов выкатился маленький круглый солдат. Упал рядом. По ним запоздало хлестнула пулеметная очередь откуда-то из деревни.

Вскочили одновременно. Маленький круглый солдат вкатился на огневую позицию, с лицом, мокрым от пота, в пилотке поперек головы. Сел на землю – отдышаться не мог, хрипел только.

– Скляр? – удивился Борис, рывком подымая его. – Ты что?

– Товарищ... товарищ капитан... Товарищ капитан... – кашляя, задыхаясь, выговорил Скляр. – Бульбанюк ранен... Ранен тяжело. Орлов срочно... немедленно приказал орудия туда... Немцы ворвались... Танки там...

– Почему огня нет? Что они там? С ума спятили?

– Батальонная рация разбита... А ротные не принимают... минами засыпали. Наши ракеты... ракеты все время дают. Наверно, двадцать ракет...

Пулеметная очередь из деревни ударила по брустверу, Борис и Скляр опустились на снарядный ящик.

– Товарищ капитан... товарищ капитан, – повторял лихорадочно Скляр. – Товарищ капитан... Немедленно орудие туда... Танки...

– Кой черт туда орудия! – выругался Борис. – Когда тут тоже танки. Я вижу, никто толком не понимает, что происходит. Вот что: дуй к расчету Ерошина. Передай мой приказ – орудие к Орлову. Поведешь орудие.

И усмехнулся чуть-чуть, поправил пилотку на круглой стриженной

голове Склера, легонько толкнул в плечо:

– Давай!

– Здесь такое, товарищ капитан, – сказал Склер, и в добрых глазах задрожала тоска. – Если вас или меня... – и наклонился вдруг к Борису, прижался щекой к шершавому рукаву его шинели. – Любил я ведь вас, товарищ капитан... Я ведь...

– Ты что? Как не совестно! Беги! – закричал со злобой Борис, отдернув руку. – Беги... к орудию!

– Извините, товарищ капитан... Я сейчас, сейчас...

Встав, Борис долго смотрел, как Склер бежал по опушке парка, болезненно прищуриваясь, когда пулеметные пули синими огоньками рвали веточки на кустах. А за деревьями не видно было орудия Ерошина.

Глава десятая

Лейтенант Ерошин получил одновременно два приказа: первый – не открывать огня без сигнала, второй – немедленно выезжать на западную окраину деревни. И Ерошин вызвал передки на батарею.

По-мальчишески возбужденный боем, стрельбой, кучей горячих гильз, запахом раскаленной орудийной краски, взволнованно-обрадованный видом горящих бронетранспортеров, Ерошин не почувствовал большой тревоги, увидев вдоль опушки леса танки.

Ерошин был цел и невредим, весь расчет был цел и невредим, и он испытывал то чувство опьянения боем, ту поднятую, отчаянную самоуверенность, какая бывает только в двадцать лет у людей жизнерадостных, – опасность скользит мимо, потому что ты очень молод, здоров, тебя где-то преданно любят и ждут, а впереди целая непрожитая жизнь с солнечными утрами и запахом парковых акаций, с синеватым декабрьским снегом в сумерках возле подъезда и теплым, парным апрельским дождиком, в котором отсырело позванивают трамваи, за намокшим бульваром – целая непрожитая жизнь, которая всегда представлялась ему легкой, счастливой.

Ерошин не раз думал, что на войне его не убьют, но если уж суждено ему умереть, то он не погибнет от шальной пули. Нет, он доползет под огнем до разбитого орудия, обнимет ствол, поцелует его еще живыми губами, прижмется к нему щекой и умрет так, как должен умереть офицер-артиллерист. Его понесут от орудия к могиле на плащ-палатке, и он почувствует, что солдаты скорбно смотрят на его молодое и после смерти прекрасное своей мужественностью лицо, и будут плакать, и жалеть его, и восхищаться этой героической его смертью.

Потом прозвучит залп на могиле, и клятвы мстить, и тихие слезы по любимому всеми лейтенанту, которого никогда никто не забудет. И капитан Ермаков, этот грубый солдафон, пожалеет до слез, что несправедливо относился к нему, не полюбил его.

Но странное несоответствие было в этой смерти. Погибнув, он обязательно должен был почувствовать все, что произойдет после его смерти. И то, что его просто не будет и он ничего не сможет чувствовать, ощущать, не воспринималось им глубоко, он даже не думал об этом всерьез, как не думают об этом в двадцать лет.

– Товарищ лейтенант, передки прибыли! – доложил сержант Березкин.

– Хорошо.

Ерошин улыбнулся, но тотчас нахмурился, как бы слегка недовольный внезапным приказанием капитана Ермакова, но не выдержал и, снова посмотрев на немецкие танки вдоль опушки, на бронетранспортеры, курсирующие по полю, сказал звонко и оживленно:

– Жаль! Честное слово, жаль бросать эту позицию. Расщелкали бы мы эти танки, ужасно хорошая позиция. Правда, Березкин?

Сержант Березкин, кивнув как-то уж очень согласно, опустил голову, но Скляр, грязный, потный, помогавший расчету подталкивать орудие, выкатил на лейтенанта глаза с отчаянием:

– Товарищ лейтенант... и там танки. Что вы говорите? Надо быстрее... быстрее! Там ждут! Быстрее... – И, поворачивая круглое мокрое лицо то к одному, то к другому из расчета, хрипло выкрикивал: – Я умоляю, товарищи... быстрее же, быстрее!..

– Быстро, товарищи! – звонким своим голосом скомандовал Ерошин и, помогая выкатывать из огневого дворика орудие, уперся новеньким погоном в обросшее влажной глиной колесо.

И езовые уже кричали из-за деревьев:

– Чего вы там? Нам под пулями сидеть!

Едва выехали из парка, вернее, еще плутали, выворачиваясь между стволов толстых лип, и езовые, согнувшись, стали хлестать лошадей, направляя их на дорогу, – свист пулеметных очередей пронесся по сухим листьям на земле, и левая лошадь выноса вместе с ездовым тяжело упала на передние ноги. Ездовой вылетел из седла, и лошадь рыхло повалилась, путая постромки, забила головой и ногами о дорогу. Упряжка тотчас спуталась, потащила по-дурному в кусты, и езовые, оглядываясь испуганными непонимающими лицами, бестолково ругаясь, задержали повода лошадей. Орудие застряло, задев колесом за ствол липы; пули снова резанули над головой, коротко взвизгнув. Ездовых словно смахнуло с седел, разом присели возле ног коренников.

– Орудие назад! Отцепляй! – скомандовал лейтенант Ерошин, возбужденно покраснев всем лицом. – Езовые, по местам!

– Да что у вас за езовые? – плачущим голосом кричал Скляр. – Извозчики с-под Гомеля! Толстые зады! Убило лошадь, так выпрягай! Стреляют, так что же...

Кусая губы, он пытался вытащить постромки из-под бившейся, уже хрипевшей лошади, а езовые, в новеньких шинелях, в брезентовых наножниках, неотрывно глядели в пространство, откуда могла прилететь пулеметная очередь, грузно, по-бабьи, приседали возле передка.

– Дураки! Ослы! Извозчики! – едва не плача, кричал Скляр и в бессилии все тянул постромки из-под хрипевшей выносной. – Чего вы стоите, дураки, ослы? Ехать надо! Ехать!..

– А ты чего сволочишь? Сами-то умеем, – угрюмо отозвался коренной ездовой, боком выдвигаясь из-за лошади. – Куда поедешь? Коня ухлопало... – Подошел и, нагнувшись так, что красные уши уперлись в воротник шинели, полоснул перочинным ножом по постромкам.

– Никак летят? – осипло сказал выносной ездовой, под которым убило лошадь.

Давяще тяжелый прерывистый гул возник в небе, глухо расстелился над землей, и когда Скляр, ездовые, лейтенант Ерошин, весь расчет, изо всей силы выталкивающий орудие меж деревьев, подняли головы, то увидели, как слева, из-за лесов, заслоняя низкое солнце, шли, сверкая плоскостями, выравниваясь над деревней, самолеты. Гул заполнял небо и, казалось, туго заполнил канавы, окопы, рывины возле дороги, где стояла упряжка.

– Идут!.. – сказал кто-то. – Развернулись! Все!..

– По местам!

Лейтенант Ерошин вскочил на передок и стоя, высоким, зазвеневшим голосом подал команду: «Рысью марш!» – и Скляр, готовый кинуться на ездовых с кулаками, увидел, как вползли ездовые на лошадей, как расчет плотно облепил станины, и он успел зацепиться ногой за подножку передка ринувшегося вперед орудия.

Орудие несло по дороге, подсакивая на ухабах, билось, гремя, привязанное ведро о передок, и в бешеной этой скачке на трех лошадях в упряжке, в понукающих криках ездовых, в их подпрыгивающих, как бы ощущающих небо придавленных спинах было нечто стыдливое и унижительное для лейтенанта Ерошина. А этот смешной, этот круглый, как шар, связной кричал, захлебываясь ветром: «Быстрее вы... к околице, а потом направо... в переулочек... там, где хаты горят!..» Ерошин слышал и не слышал его, почему-то отчетливо вспоминая ту первую пулеметную очередь, которая убила выносную лошадь. Она могла убить и его... И эта мысль тоже была унижительной.

– Рысью! Рысью!..

И непонятно было: самолеты шли слева – орудие уходило от них, и вдруг, растянутые в линию, засверкав, появились они впереди, над дорогой, и первый «юнкерс», подставляя плоскости солнцу, точно споткнулся в воздухе и стал падать на деревню, все увеличиваясь, все вырастая в своих размерах. И с тем же унижительным чувством (где-то билось оно в

сознании) сердце Ерошина, тоскливо замерев, стало падать, и вместе с сердцем словно падал он сам.

– Влево! Во двор! – крикнул Ерошин, и показалось: не он кричал, а кто-то другой.

И когда упряжка, круто свернув, ломая плетень, влетела в первый двор, лейтенант Ерошин помнил, что он отдавал команды, но сам уже не слышал их. Его оглушило покрывающим все грохотом, он упал. Его несколько раз подкинуло на земле, и горло, грудь стало душить гарью, толком, и потом, кажется, вытошнило скользкой горькой желчью. Сплевывая, кашляя, испытывая прежнее отвратительное чувство своего бессилия, со слезами, застилающими глаза, Ерошин все же поднял налитую чугуном голову, и как будто в лицо ему ударило низким, давящим ревом, захлебывающимся клекотом пулеметных очередей. Увидел, как стремительно и наклонно неся прямо на двор серебряный паук, шевеля огненными пульсирующими лапами, вытянутыми к нему справа и слева от стеклянной головы. Горячим ветром дохнуло на Ерошина, и, ожидая, что черное яйцо оторвется сейчас от брюха падающего паука, он успел заметить, как кто-то вскочил с земли и бросился за хату.

– Ложись! Ложись! Не бегать!

«Это кричу не я, – мелькнуло у Ерошина. – Но почему я лежу? Что я делаю? Нельзя показывать, что я боюсь. Я ничего не боюсь. Надо встать, посмотреть, где люди... Надо замаскировать оружие... Они заметили его с воздуха...»

Его снова подкинуло на земле, ногами сильно ударило обо что-то твердое. Он теперь лежал лицом вниз. И снова возникший над головой, приближающийся рев заполнил все поры его тела, уши, глаза, легкие. Ему тяжело было дышать. Он кашлял. Его позывало на тошноту, но не тошнило. Ерошин пополз, не зная, зачем и куда. Было такое ощущение: у него ничего уже нет – ни тела, ни сердца, вместо всего этого звук, падающий на него сверху. «Боже мой, оружие не замаскировано...» И казалось, сейчас все прекратится, рев, достигнув своей предельной точки, оборвется, пропеллер врежется ему в голову и вопьется в землю вместе с ним.

«Что это? Неужели смерть? Так быстро? Не может быть! Нет, нет! Я не хочу! Нет, нет! Нет, нет! Нет! Неужели я уже убит? Да, я убит... Нет, нет!.. Это стучат пули вокруг меня?.. Я еще думаю, – значит, не убит... Ох, как я не хочу умирать... Должна быть какая-то справедливость в мире... Я так не хочу...»

– По места-а-ам!

Кто это кричит? Чей это такой знакомый голос? Ах да, это капитан

Ермаков! Просто ему показалось. Нет, опять команда: «По места-ам!»

Он вскочил. Ему надо бежать к орудию. Он поднял голову и неправдоподобно близко увидел над собой выходящий из пике ослепительно-серебряный хвост самолета. Его ноги не слушались – упал. И снова поднялся и, спотыкаясь, побежал к невидимому орудию, потом снова упал и, падая, почувствовал, как ему странно легко и свободно стало.

А было ли все это? А может быть, ничего и не было? Нет, все это: ночь, бой, стрельба по бронетранспортерам, убитая выносная лошадь, потом самолеты, – все это ему кажется. Может быть, он вовсе и не на фронте, а спит на своей койке в училище? И через минуту горнист заиграет подъем? А утром так не хочется вставать... «Еще бы немного, еще!»

Но в казарме уже слышится та особая предподъемная беготня дневальных, быстрые, в полный голос приказания дежурного по батарее, и, наконец, вот она – знакомая, поднимающая на ноги команда: «Подъе-ем!»

А за обмерзшими окнами – фиолетовый холод, студень пар вваливается в двери казармы, и фигурки дневальных видны там, как в дыму. Вчера он очень устал. Он смертельно устал. Он вчера целый день откидывал снег от орудий после январской метели. Один откидывал. А снег был крупчатый, пронзительно-солнечный, он вонзался в глаза синими режущими иглами. И сейчас веки невозможно разомкнуть.

«Послушай, пожалуйста, – с закрытыми глазами говорит он дежурному. – Ты учти, будь добр. Я вчера работал, я на зарядку не пойду по приказанию командира батареи».

А кто командир батареи? Ах, да, он вспомнил: капитан... Гречик?..

«По приказанию капитана... – говорит он дежурному умоляющим голосом. – Честное слово!»

«Подъем! – кричит дежурный, как глухой. – Подымайсь! Орудие маскировать! Быстро!»

«По приказанию капитана Гречика!» – кричит Ерошин.

«Ничего не знаю! Подъем! А кто такой Гречик?»

Действительно, кто такой Гречик? Да и зачем это знать? Какое ему дело! Зачем ему знать? Он знает, что говорил дежурный... Он говорил: ты трус, Ерошин. И хотелось ему тогда плакать от обиды, от стыда, от бессилия.

«Что это? Я думаю, – значит, я не убит. Но ничего вокруг нет... Нет, я не убит. Только бы вдохнуть воздух, глаза открыть...»

Он разомкнул глаза, и в эту секунду черная грохочущая стена накрыла его, и он не успел понять, что случилось с ним.

Когда через двадцать минут после бомбежки Борис вместе со Скляр

и сержантом Березкиным вбежал во двор, развороченный бомбами, усыпанный самолетными гильзами, на том месте, где лежал лейтенант Ерошин, ничего не было.

То, что оставалось от Ерошина на этой земле, был почему-то уцелевший в своей первозданной чистоте новенький лейтенантский погон и найденная на огороде полевая сумка, которую принес и опознал сержант Березкин.

Глава одиннадцатая

Почти не пригибаясь, вытянувшись цепочкой и обходя воронки, шли по деревне двенадцать человек. Многие из них шли в плотной немоте, не слыша ничего, кроме стрекочущего, как кузнечики, звона в ушах. Их осталось двенадцать артиллеристов, без орудий, без лошадей. Лишь две панорамы – одну разбитую, другую целую – нес в вещмешке совершенно оглохший наводчик Вороной.

Деревня горела. Черный дым полз над плетнями, искры и траурный пепел сыпались на шинели, жгуче-острым дыханием пылающей печи дышало в лицо. Но никто, видно, не чувствовал этого, не защищал волос, не прикрывал глаза от жара, – все равнодушно и вспоминаяще смотрели в землю. Словно какой-то козырек висел над бровями. После неестественного напряжения темный козырек этот мешал смотреть в небо, и все видели только землю. И хотя пылали вокруг окраины и оранжевые метели огня, дыма и искр бушевали за плетнями, никто не смотрел по сторонам. Смешанный треск очередей, визг пуль в переулках, звенящая россыпь мин впереди – все это после получасовой бомбежки казалось игрушечным, неопасным.

Борис шел, нервно засунув в карманы руки, не оглядываясь, не подтягивал отстающих людей, – команды им были не нужны. Свой голос и голоса людей раздражали его. Было ясно: батальон сжат, как в игольном ушке, и все, что могло произойти два часа назад, ночью, на рассвете, не произошло. Но все же в его сознании билась, как загнанная, надежда: «А может быть... а может быть...»

На окраине деревни, густо затянутой дымом, кто-то закричал слева от дороги:

– Куда? Куда к немцу прешь? Не видишь?

И в дыму этом запорхали вспышки, залился в лихорадочной дрожи станковый пулемет, – двое солдат лежали в придорожной канаве за «максимом».

– Мне командира батальона, – сказал Борис, удивляясь странному спокойствию своего голоса.

– На высоте! Влево по траншее!

Вся эта высотка, сплошь опоясанная недавно аккуратными немецкими траншеями, сейчас была разворочена воронками, разрыта черными ямами, ходы завалены землей вперемешку с торчащими ребрами досок; валялись

на брустверах окровавленные клочки шинелей, стреляные гильзы, немецкие коробки от противогазов, расщепленные ложки винтовок, – в эти места были прямые попадания. И было все-таки непонятно, почему на высоте казалось пусто и почему встретили здесь лишь три пулемета и человек десять автоматчиков возле самого входа в блиндаж. Когда Борис вошел, Орлов, в расстегнутом кителе, с худым серым лицом, – оно словно подрезалось, и куда девалась припухлость на щеке, – кричал на остроносого, изможденного пехотного лейтенанта с автоматом в опущенной руке.

– Я тебе людей не рожу! Понял? Пришел, хреновину порешь с умным видом, а я будто не знаю! Каждого офицера, кто пискнет об отходе, расстреляю к ядреной Фене! Куда отход? Куда? Дай тебе волю, до Сибири бы драпал! Не терпит кишка, уйди в дальний окоп, чтоб солдаты не видели, и застрелись. Но молча. Молча! Вот тебе совет. Двигай во взвод!

Невесомо, робко ступая, лейтенант вышел. Орлов повернулся, сумрачный, злой, и тотчас в красноватых от бессонницы глазах его бешено толкнулась радость. Он шагнул к Борису:

– Ты? Дьявол! Где орудия? Привел?

– Где связь с дивизией? – ответил Борис, устало оглядывая просторный немецкий блиндаж, в дальних углах которого жались к аппаратам двое телефонистов; худенький ротный радист и офицер-корректировщик, взволнованно-красный от напряжения, подчищали наждаком, соединяли тоненькие проводники разобранной рации.

– Орудия где? – повторил грозно Орлов, скользя неверящими глазами по лицу Бориса, и, вдруг поняв, спросил дважды: – Накрылись? Накрылись?

Борис сел на край железной кровати, бросил фуражку на потертое зеленое одеяло, усмехнулся:

– В донесении можешь передать: орудия разбиты. Одно при бомбежке, другое – танками. Запишешь на счет батальона – шесть бронетранспортеров, два танка. У меня от двадцати пяти человек осталось двенадцать. Со мной. Ерошин убит. Это все. Прибыл в твое распоряжение. Могу командовать ротой, взводом, отделением. Посоветуешь стреляться – не застрелюсь. Кстати, злостью своей последнюю надежду из людей вытряхиваешь!

Борис сказал это очень жестко, и под его взглядом Орлов, как бы остывая, опустил глаза, но сейчас же поднял их – потолок затрясся от частых разрывов, посыпалась земля, – крикнул властно в дверь блиндажа:

– Что там?

– Танки бьют, – ответил кто-то из траншеи. И голос этот заглушило разрывом.

– Кажется, сейчас будет завершение. – Орлов застегнул китель, резко затянул ремень, вынул пистолет, щелкнул предохранителем и, засовывая его не в кобуру, а в карман галифе, сел на кровать возле Бориса, спросил с горячностью: – Надежду вышибаю, говоришь? Я вышибаю? Правильно, Ермаков. Я вытряхнул из батальона надежду сорока ракетами. Я их выпустил в белый свет, как в копеечку. Где огонь? Где поддержка огнем? В ротах осталось по пятьдесят-сорок человек. Мы стянули на себя кучу немцев, мотопехоту, танки, авиацию. Надо быть остолопом, чтобы не понимать: время, время для наступления дивизии. Мы торчим в колечке шестнадцать часов. Где дивизия? С пшенкой ее съели?

– Не знаю, – ответил Борис и, опираясь о спинку кровати, встал, покосился на молчаливых связистов. – Выход один: ждать. И связь, связь... Мы не знаем, что там с дивизией. Поэтому – ждать. Мы делаем то, что и надо делать, – оттягиваем на себя силы. Иначе зачем мы здесь?

Орлов рассмеялся.

– Я шестнадцать часов говорю об этом солдатам. Говорю и... уже не верю себе! Еще час – и от батальона не остается ни человека! Полсуток думают: начинать наступление или не начинать? Утром я поймал по рации полк. На три секунды поймал! Ни дьявола не принимала эта фукалка – леса мешают, и вдруг поймал. Два слова поймал: «Держаться, держаться!» Но сколько прошло времени! Там знают, сколько может продержаться единственный батальон?

– Что предлагаешь? – спросил Борис.

– Сохранить оставшихся людей. – Орлов шагнул к двери землянки, плотнее прихлопнул ее. – Ясно?

– Ну? Конкретно? Как?

– Немедленно снять людей. Сконцентрировать на восточной окраине. И прорываться сквозь окружение к Днепру.

И хотя Борис снова почувствовал за этими словами правоту Орлова, все же непотухающая искорка надежды заставила его сказать:

– Положили здесь людей только для того, чтобы уйти назад? Так просто, Орлов? Бессмысленно! Надо ждать. И держаться.

Возле блиндажа возник шум голосов, топот ног, и басок крикнул возбужденно: «Не тронь его, ребята! Стой, стой, говорю!» Дверь блиндажа рывком распахнулась, и несколько рук со всей силой впихнули высокого, в кровь избитого человека в тугом шерстяном шлеме, в немецкой, порванной у кармана шинели, без погон. Следом ввалился Жорка Витьковский,

белокурые волосы растрепаны, нос страшно, неузнаваемо припух, под ним засохшая струйка крови; рядом с Жоркой – знакомый Борису полковой разведчик, широколицый, мрачно молчаливый, весь взмокший; расстегнутая кобура парабеллума отвисала на левом боку. Жорка вышел вперед, шмыгнув носом, проведя под ним пальцами, и, подтолкнув человека не к Орлову, а к Борису, доложил:

– Вот этот с пулеметом на церковке сидел. Наш оказался.

– Как наш? – не понял Борис. – Чей наш?

– Ну... русский, что ли, шкура... Или как он там... Проститутка, в общем, – подбирая слова, объяснил Жорка, улыбаясь хмуро, и все трогал пальцами под носом. – Цельный час выкуривали его. Гранаты в нас кидал эти немецкие, а матерился, бродяга, по-русски, когда брали его... в шесть этажей...

– Власовец? – быстро спросил Борис, подходя к человеку в шлеме, впиваясь потемневшим взглядом в его лицо. – Власовец?

Человек стоял, расставив ноги в немецких сапогах, засунув руки в карманы, кругляшок черных волос прилип к сгустку крови на лбу, продолговатая ссадина на щеке тянулась к виску, один обезображенный окровавленный глаз заплыл; в глубине другого, антрацитного-черного, без ресниц, остановилось, замерло выражение ожидаемого удара.

– Ну? Власовец? – переспросил Борис. – Что молчишь?

Пленный пожал плечами, хрипло, грудью выдавил:

– Ich weiß nicht...

– Врет, – насмешливо проговорил Жорка. – Дрейфит, проститутка, что власовца в плен не возьмут. Он еще по дороге начал: «Нихт, нихт!» А до этого в бога костерил! На чисто русском... Он наших в деревне не одного человека ухлопал. Церковка – все как на ладони. Т-ты! – крикнул он пленному и даже подмигнул, как знакомому. – Закати-ка в три этажа. Для ясности дела. Да не стесняйся, ты!

Пленный молчал, один глаз его застыл в немигающей неподвижности, зрачок слился с влажной чернотой, и вдруг весь глаз задрожал, как от тика.

– Стрелял, значит? – Борис взял человека за подбородок, поднял его голову, взглядом нащупывая ускользающую черноту зрачка.

– Может быть, фамилию назовешь?

Почему русский этот, оставленный здесь, в деревне, стрелял в русских с упорством, на какое, по-видимому, способен был немец, уже не интересовало Бориса. На этот вопрос никто из власовцев откровенных ответов не давал, и Борис медленно и отдельно проговорил:

– Ясно. Думаю, допрос не нужен. Как ты, Орлов?

Телефонисты сидели, напряженно выпрямившись в углу. Орлов, стиснув губы, смотрел в стол, и по его бледному лицу, на котором четко чернели красивые, изломанные у висков брови, Борис прочел приговор.

– Допрос? – зло произнес Орлов, не подымая головы от стола. – Ни одного вопроса! Родину, стервец, продал! А ну, выводите его. Фамилия? Не нужна фамилия. Он сам забыл ее!..

– Товарищи... Товарищи... – внезапно хрипло и жутко выдавил горлом пленный и, словно переломившись, сел на пол, диким глазом умоляя, прося и защищаясь. – Товарищи... – Он стал на колени, подымая и опуская руки. – Пощадите меня... Еще не жил я... Не своей волей... Пощадите меня... У меня жена с ребенком... в Арзамасе... Товарищи, не убивайте!..

Мутные слезы потекли по лицу. Не вытирая слез, он трясущимися руками разорвал подкладку на шинели, лихорадочно, слепо вытащил оттуда что-то завернутое в целлофан, торопясь, сдернул красную резинку.

Орлов гибко выскочил из-за стола, рванул к себе пленного за грудь, сильным толчком поднял его с земли. Бумаги упали на пол, рассыпались под ноги ему.

– «Товарищи... Не своей волей... Жена в Арзамасе»? Ах ты!.. А на церковке сидел до последнего? Умри хоть, сволочь, как следует!

– Товарищи... Товарищи... – Власовец снова ослабленно сел на пол и судорожно совал руки во все стороны, словно пытаясь еще подобрать рассыпанные бумаги. – Я не хотел... не хотел...

– Выводите! – испытывая омерзительное чувство, приказал Борис и отвернулся, чтобы не видеть этих унижительных, бегущих по щекам мутных слез, этого полного звериным страхом черного глаза без зрачка.

Власовца вывели. В траншее послышался шум, затем, накаленный животной ненавистью, взвизгнул голос:

– Были бы вы в моих руках!.. – Наступила пауза. И вслед за этим безумный, умоляющий вскрик: – Товарищи... Товарищи...

Воздух полоснула автоматная очередь.

В блиндаже было тихо. Борис прошелся из угла в угол, увидел на полу бумаги этого уже не существующего человека и брезгливо поднял их. Просмотрел потертый на углах аттестат, выданный на имя командира взвода разведки лейтенанта Сорокина Андрея Матвеевича, 1920 года рождения; потом, хмурясь, долго глядел на фотокарточку беленькой большеглазой девушки, доверчиво улыбающейся в объектив; на обороте косым, неокрепшим почерком: «Дорогому и любимому Андрюше от навечно твоей Кати. 11 апреля 1940 года, гор. Арзамас».

Присел к столу, протянул бумаги Орлову, стараясь подавить чувство

жалости к этой неизвестной ему Кате, которая уже никогда не узнает всю беспощадную и злую правду о том, кто умер сейчас.

Орлов, сумрачный, мельком взглянул на аттестат, на фотокарточку и, не проявляя никакого любопытства к этим документам, сказал вполголоса озабоченно:

– Давай подумаем, Ермаков! Твоих людей посылаем в первую роту. Там самые большие потери. А! – с какой-то болью произнес он и сунул документы власовца в полевую сумку. – Торчит перед глазами. Придется в штаб полка отдать. Ну, пошли?

Он встал, неожиданно задумался, поглядел на Бориса – на лице появилось вдруг незнакомое виноватое выражение:

– Боря... Из офицеров мы тут с тобой вдвоем... Я сам людей твоих распределяю... А ты останься... За меня.

– Тут снайперы со всех сторон лупят. И вообще мне, как говорят, необходимо, а тебе... Двоих укокошат – чепуха получится.

Из тепло зазеленевших глаз Орлова проглянуло, заблестело что-то похожее на заботливую неясность. И необычное это выражение огрубевшего в матерщине, в вечной окопной грязи Орлова чрезвычайно удивило Бориса.

– Ну, понятно, Орлов, – сказал Борис.

И, надвинув фуражку, первым вышел из блиндажа.

Все звуки, приглушенные накатом и тяжелой дверью, выделились теперь в хмуром осеннем дне со всей отчетливостью и полновесностью. В двух шагах от блиндажа скрежетал, захлебывался ручной пулемет, стреляли по всей траншее; изредка, перезаряжая диски, люди оглядывались назад, глядели куда-то вбок. Позади высоты жарко пылала вся окраина, огонь сплелся над улицами и плетнями, дым упирался в низкие и грузные облака, полные октябрьской влаги. Немецкие танки били по высотке, вдоль брустверов всплескивали фонтаны земли, вибрирующий острый звон осколков бритвенно прорезывал воздух.

Орлов, вышедший за Борисом и быстро взглянувший вверх, закричал в блиндаж:

– Телефоны сюда!

На дне траншеи, устало положив на колени автоматы и карабины, сидели артиллеристы. Курили, смотрели угрюмо в землю, как люди, потерявшие что-то, виноватые и не понимающие, зачем они здесь. Только Жорка Витьковский, с распухшим носом, улыбающийся, весь какой-то непробиваемо беспечный, показывал Скляру загнутый финский нож, сжимая наборную костяную рукоятку, рассказывал увлеченно:

– Он меня – дербалысь, у меня сто чертей из глаз вылетело. Я – брык, крепкий, бродяга, навалился, хрипит и душит, злой, как гад ползучий. Ну, думаю, все, Жорка. В башке пух какой-то. Да... А тут разведчик ка-ак ляпнет ему по шее...

Скляр слушал и мелко-мелко кивал, округляя добрые глаза, восхищаясь и любуясь Жоркой, поражаясь его бездумной решительности. Скляр ненавидел немцев, но за всю войну по роду своей службы он еще не убил ни одного из них и был убежден, что это не так легко сделать. Жорка только что, не задумываясь, убил человека, вытолкнув его на бруствер, полоснув в него из автомата. Хотя Скляр понимал, что Жорка не мог сделать иначе, потому что сам рисковал жизнью, и хотя знал, что самого его, Скляра, могла убить пуля этого власовца, все же жутью веяло от того, что произошло на глазах: стоило нажать спуск – и человека нет, будто он и на свет не рождался.

Рядом со Скляром, бережно положив у ног вещмешок, в котором были прицелы, сидел наводчик Вороной, весь словно ушедший в себя, и машинально грыз сухарь, трудно глотая. Он не слышал ни выстрелов, ни того, что говорил Жорка; он был контужен и прислушивался только к тягучему звону в ушах; изредка на остановившиеся глаза его набегало что-то сверкающее. Он промокал глаза рукавом шинели и смотрел на расплывающийся сухарь в испачканных оружейной смазкой пальцах.

– Что у вас с глазами? – воскликнул Скляр с жалостью.

Наводчик не мог расслышать слов, лишь угадал их смысл по губам и не ответил на вопрос, только прошептал едва различимо:

– Лейтенант-то... лейтенант... мальчик ведь... Школьник... Свой паек, табак солдатам отдавал. До-обрый был...

Скляр вспомнил сразу юное, застенчиво краснеющее лицо Ерошина, его щегольские хромовые сапожки, длинную шинель и веселый, звенящий голос его команд, вспомнил, что его уже нет, что остались лишь знаки его жизни на земле – погон и полевая сумка, и, ища виновников его смерти, внезапно гневно оглянувшись на двух толстозадых ездовых, что давеча трусливо приседали возле коренников, а теперь шептались, прижимаясь к стене окопа.

И с неожиданным бешенством он протянул к их крепким, крестьянским лицам маленький кулачок и закричал:

– Дураки! Трусы! Погубили лейтенанта! Вам морды... морды набить!.. Если бы не вы, дураки окаянные, мы бы успели... Извозчики!

– Ты зачем? Ты для чего! – испуганно забормотали ездовые, отстраняясь и опуская глаза. – Мы разве виноваты... Мы разве хотели...

– Скляр! – строго окликнул Борис, подходя к солдатам. – Что это такое? Прекратить! Почему до сих пор Вороной здесь? Отвести в землянку для раненых. Остальные за мной!

Беглым огнем по высотке и деревне били танки.

– Давай, давай, ребята, сюда! – махнул рукой Орлов, стоя возле блиндажа, высокий, гибкий в своем туго перепоясанном крест-накрест ремнями кителе, в сдвинутой набок фуражке. – Будем воевать в пехоте. Не привыкли? Ничего! Ко всему нужно привыкнуть. Будем живы, не умрем. – И пошутил: – Ну и ездовые у тебя, Ермаков! Как тараканы беременные! Еще с кнутами пришли!

Когда Борис вместе с Орловым распределил людей по оголенным траншеям первой роты, когда, осыпанные землей разрывов, они пробирались назад, перешагивая через полузасыпанные тела убитых, и из мелких ходов сообщения им открывалась картина боя, Борис впервые особенно ясно почувствовал, что батальон долго продержаться не сможет.

Впереди опушки леса немецкие танки стояли на овсяном поле, метрах в восьмистах от высоты, и не двигались, только медленно поворачивали башни, почти одновременно выбрасывая огонь.

И, может быть, именно то, что перед танками не было препятствия – реки, а лежало открытое поле, усеянное копнами, меж которых перебежали, падали и ползли, стреляя из автоматов, люди, – именно это сказалось Борису, что положение батальона тяжело и очень серьезно, если не губительно. Теперь Борис искал надежду не только в себе, но и в тугой фигуре Орлова, решительно шагавшего по стреляным гильзам, – Орлов то и дело кричал шутливо:

– Ну как, ребята? Патроны беречь! Иванов, чего тылом ныряешь? А? Ха-ха! Стоять! Гранаты беречь, как жену от соседа. Беречь!

Нет, оно еще жило, тело полуразбитого батальона, оно дышало, оно боролось, оно не хотело умирать и не верило в свою гибель, как не верит в преждевременную смерть все здоровое, что обладает живым дыханием.

Солдаты не отвечали, не улыбались этим не казавшимся сейчас грубыми шуткам Орлова; и только Жорка Витьковский весело ухмылялся, нежно щупая распухший нос. Усталые, небритые, с грязными лицами солдаты жадно, ожидающе встречали взгляды офицеров, и было иногда в этих взглядах невысказанное: «Вот держимся! А как дальше?»

И хотя все знали, что отступать некуда, батальон окружен и нет того маленького пространства, которое могло бы спасти, куда можно было бы отойти в невыносимом положении разгрома, – как ни странно, это пространство почти всегда занимает местечко в душе солдата, – взгляды

людей, скользнув по лицам офицеров, украдкой устремлялись назад, на горящую деревню, где учащались разрывы снарядов и треск автоматов, и в глазах мелькало выражение тоски.

– Что ж, товарищ старший лейтенант? Нет дивизии. Очумели там? Или не знают? – с подавленной злостью спросил пожилой плечистый пулеметчик, рывком расправляя ленту, и внезапно заученно пригнул голову.

Бруствер рвануло грохотом и звоном: как метлой смахнуло землю в траншею, ядовитой гарью забило легкие. Орлов крикнул:

– Меняй позицию! Все пулеметы пристреляли, сволочи! Чаше меняй позицию!

– Так что же? – по-прежнему насмешливо спросил пулеметчик, отряхивая землю с пилотки. – Как же дивизия-то?.. Или впустую все?

– Когда убиваешь немца, который стреляет в тебя, значит, не впустую. Родину не защищают впустую, – вдруг спокойно, очень спокойно сказал Борис и даже улыбнулся чуть-чуть. – Скоро будет легче. Легче! Осталось немного терпеть! Дивизия будет здесь, в Ново-Михайловке!

– Вон как! Сообщение, что ли, какое есть? – недоверчиво сощурился пулеметчик и снова рывком продернул ленту. – Что-то вроде артподготовки не слышать. Не слышать...

– Час назад дивизия пошла в наступление. Отсюда не услышишь. Витьковский! Еще раз сообщить всем в роте, что дивизия перешла в наступление час назад! – неожиданно для себя приказал Борис, ужасаясь тому, что он приказывает, но прямо глядя в расширенные, ясные, немигающие Жоркины глаза.

И, не сказав ни слова, Витьковский двинулся по траншее. Орлов рванулся следом, побледнев, крикнул: «Назад!» – но Борис крепко в укоряюще сжал его каменно напрягшуюся руку: «Подожди, Орлов!»

Это была ложь, но это была в надежда. Надо было жить и верить, верить в то, что могло и должно быть, что еще не свершилось, но в чем он, Борис, не сомневался. Создав эту ложь, он сам удивился тому, что не испытывал душевного мучения и угрызения совести, эта ложь должна стать правдой через час, через два, через десять часов. Она помогала еще прочно держать истерзанный батальон здесь.

– Ты что, с ума спятил, Ермаков? – нервно спросил Орлов. – Ты понимаешь, что это такое?

– Все понимаю, – сказал Борис, шагая по гильзам. – Если батальон погибнет, то с верой. Без веры в дело умирать страшно, Орлов. И тебе... и мне... Ради жизни этого же пулеметчика сказал. Передай в роты, что дивизия перешла в наступление. Сам передай. Или... – Борис посмотрел в

глаза Орлова, – я передам. Сколько у тебя коммунистов? Здесь, в роте?

– С парторгом было девять человек. Сколько осталось – не знаю. Парторг убит утром...

Он не договорил. Навстречу, задевая плечами за края траншеи, бежал к ним, весь потный, Скляр.

– Что там? – нахмурился Орлов.

– Вас... вас обоих Бульбанюк просит, – зачастил Скляр, поправляя сбившийся ремень. – Все обстановку спрашивает. А там уж места для раненых нет.

– Иди, Коля, на КП, звони в роты, – сказал Борис Орлову и добавил грустно: – Я схожу к Бульбанюку. Нельзя жить без надежды, друг, нельзя... Честное слово.

Немецкий, обшитый тесом огромный блиндаж был битком набит ранеными, здесь лежали и сидели, душно пахло шинелями, потом и йодом; в глазах мельтешило от белых бинтов, этого цвета слабости и боли.

Когда Борис вошел, внешне бодрый, в застегнутой шинели, пропахшей порохом, в его карих глазах словно теплилась улыбка ясного душевного спокойствия и губы тоже чуть-чуть улыбались, готовые для слов, с которыми он шел сюда. Он будто внес к ним свежую частицу боя, горевшего за дверями блиндажа, и тотчас раненые зашевелились, повернули головы, беспокойно вглядываясь в этого стройного, незнакомого многим молодого артиллерийского капитана. Дюжий, изможденный лицом санитар-старшина – его окровавленные рукава гимнастерки были засучены до локтей – на минуту перестал перебинтовывать молоденького стонущего паренька, повернулся к Борису с равнодушным видом человека, знающего на войне недорогую цену жизни. Взглянул на Бориса вскользь и заработал неторопливо волосатыми руками этот санитар, привыкший ко всему. Наступила тишина в блиндаже, лишь подымались головы из гущи тел. И кто-то – две ноги были замотаны бинтами – спросил осторожно:

– Как... там?

Борис сказал то, с чем шел сюда, в чем нужно было, по его мнению, убедить этих людей, для которых исход боя казался более важным, чем для тех, кто еще двигался и стрелял в траншеях; сказал и после неопределенного молчания услышал в ответ легкие покашливания, стоны, сдержанные голоса:

– Скорей бы... Мочи нет тут валяться...

– А патроны есть?

– Сколько еще держаться нам?

– Часа два, – твердо сказал Борис, опять поражаясь своей уверенности. – Немного терпеть осталось, товарищи.

– Иди сюда, Ермаков, – послышался от нар знакомый голос, и Борис увидел майора Бульбанюка.

Он лежал на нарах, повернув голову, неузнаваемо осунувшийся за несколько часов; грудь, плотно перебинтованная и вся чисто-белая, тяжело подымалась.

Борис сел возле. Майор Бульбанюк, слегка приподняв голову, встретил его настороженным, через силу долгим взглядом и, не выпуская преувеличенно спокойного лица Бориса из поля зрения, спросил тихо и зная:

– Это... все, капитан? Больше... ничего?

– Все. Это все, – вполголоса ответил Борис.

Майор опустил на солому голову, большая рука его стала шарить около себя и, ничего не найдя, бессильно затихла. Он глядел на Бориса вопросительным взглядом, затуманенным болью.

– Санитар, – позвал Бульбанюк странно окрепшим голосом.

Подошел санитар-старшина, вытирая ватой руки.

– Санитар, – сказал Бульбанюк. – Вынесите-ка меня в траншею... Душно тут. Воздухом подышать хочу...

– Нельзя, – коротко ответил старшина. – Не имею права.

– Я приказываю. Слышали? Нет? Выполняйте... Пока я жив, я командир батальона. Вот так... На воздух...

Бульбанюк, упершись руками, попытался сесть, побледнел. Его вынесли в траншею, и майор потребовал, чтобы его посадили на плащ-палатку, прислонили спиной к стене окопа. Он сидел без кровинки на тронутом оспой лице, очень слабый, жадно заглатывал воздух и смотрел в небо. Еще недавно он всех словно оведал добротным железным здоровьем человека, прожившего всю жизнь на полевом воздухе. И сейчас, глядя на Бульбанюка, Борис все понял, негромко сказал:

– Товарищ майор...

– Молчи. Все знаю. Мне, может, и умереть судьба. А вот людей... людей... не уберег... Как член партии говорю... Первый раз за всю войну не уберег. Ничего не мог сделать. Слышу... – Он, передохнув, криво улыбнулся. – Слышу... Дивизия перешла... Ишь, из танков чешут... – Майор закрыл глаза, замолчал, будто прислушиваясь к самому себе.

Борис взглянул на курившего возле блиндажа санитаря и сделал ему знак, чтобы тот отошел в сторону, потом, переждав немного, подошел к нему.

– Немедленно начинать эвакуацию раненых, – вполголоса сказал Борис. – В деревню. Разыскать хоть одного из жителей – и по два, по три человека в хату. Запомните, что за жизнь раненых отвечаете головой. Мы вернемся.

– Что? Прорываться? Когда? – спросил удивленно санитар-старшина, бросая сигарку под ноги.

– Пока нет. Но потом – возможно. Ходячих пока не эвакуируйте. Пришлю вам двух человек на помощь. Бульбанюка как зеницу ока берегите.

– И трех часов не вытянет, товарищ капитан. Грудь и живот. Осколки.

– Ермаков! – вдруг ясным голосом позвал майор Бульбанюк и открыл глаза; в туманной мерцающей глубине их, борясь с болью, мелькнуло что-то решенное, незнакомое. – Ермаков... ты вот что... подари мне свой пистолет. Мой немцы покорежили. Ты себе... найдешь. И вынь из галифе мой билет. Сохрани...

Борис, не ответив, достал из его кармана теплый, влажный, пахнущий потом и кровью партбилет, долго смотрел Бульбанюку в лицо.

Борис молчал: майору было ясно положение батальона, и теперь никакого смысла не было скрывать истинные обстоятельства, и он не хотел делать этого. Стиснув зубы, Борис вынул свой пистолет из кобуры и протянул его старшине.

– Положите в сумку майора, – сказал он, представив себя на секунду в положении Бульбанюка и не мучаясь тем, что делал.

Танки пошли в тот момент, когда Орлов, охрипнув от злости и ругани, кричал в телефонную трубку, чтобы на автоматчиков не обращали внимания. Звонил командир третьей роты лейтенант Леденец, он сообщил, что на левом фланге в деревню просочились автоматчики, бьют с тыла и вдоль траншей, в роте создается положение «хуже губернаторского», головы не подыметь.

– Че-пу-ха! – кричал Орлов, поставив носок сапога в нишу для гранат. – Держи хвост пистолетом и не унывай, понял? Два-три автоматчика – хрен с ними, пусть ползают!

– Да не два-три, товарищ старший лейтенант.

– Хрен с ними, говорю! Фронт держи! Фронт! А о тыле мы побеспокоимся! Понял?

– Танки! – крикнул кто-то в траншее.

Орлов швырнул трубку, в полный голос выругался и посмотрел вокруг на возникшее в окопах движение, ударил резко по фуражке, надвигая ее на

лоб, и выглянул из траншеи. Он выглянул только на миг, потому что весь бруствер пылился и осыпался от пулеметных очередей, металлический свист бушевал над траншеей. Однако того, что увидел Орлов, было достаточно, чтобы понять: это последняя немецкая атака, это завершение...

Немецкие танки с прерывистым гудением зашевелились в овсяном поле, тяжелые и квадратные, выбрасывая короткие молнии, они ползли к высоте, подминая копны и широкими вращающимися гусеницами как бы хищно пожирая, пережевывая пространство между собой и траншеями, в которых замерла первая рота. Тотчас же позади танков, на всей скорости выезжая из леса, стали останавливаться крытые брезентом грузовики, с них прыгали люди, бежали по полю, мелькая между копнами.

Все это успел заметить Орлов. Он посмотрел вдоль траншеи, скомандовал, напрягая сорванный голос:

– Бронебойщики, готовься! Пулеметчики, по машинам!.. Короткими!..

Жорка Витьковский, деловито вправляя железную ленту в трофейный пулемет МГ, взятый у убитого немца еще на переправе, полувесело, полусердито чертыхался, косясь на второго номера. Это был рыженький, остроносый артиллерист, который словно окаменел с выражением испуга в пестреньких, как речная галька, глазах; он шептал:

– Як же так мы без орудий, а? Що ж это буде? – И заговорил внезапно совершенно о другом: – Я, понимаешь, конюхом в колхозе был. И все ко-они снятся, ко-они... Як же так?

– Як же, так же, вак же, – снисходительно передразнил Жорка, подмигивая. – Дрейфишь, что ли, бродяга? Наложил полным-полна коробочка. Вот мы сейчас им дадим жизни!

Остро прищурив светлые глаза, Жорка пустил длинную очередь трассирующих по бегущим от тупорылого грузовика немцам, закричал что-то азартное, отчаянное, перемешивая в этом крике бродяг, проституток и шибздиков. Паренек с чувством непрочности двумя руками сжимал железную коробку, ослепленно моргая желтыми ресницами. Будто опаляющий ветер поднялся от ревущих танков, от пулеметов, от разрывов на брустверах, от учащенных ударов противотанковых ружей, от неразборчивого Жоркиного крика, поднялся и обрушился губительно на голову паренька.

Траншеи не стало видно в дыму, в облаках взметавшейся земли и пыли, и только беспрерывно высекались красные длинные искры. Но все же Жорка, меняя ленты, упорно пытался взглядом найти в серой мгле знакомую фигуру капитана Ермакова: за жизнь его он отвечал даже сейчас.

Сам Жорка жил легко и бездумно, как птица, и меньше всего думал о себе. Он не привык серьезно думать о себе. Не закончил девять классов: надоело сидеть за партой, корпеть над алгеброй, глазеть на доску – он, не задумываясь, бросил школу, поступил на курсы шоферов и потом два беспечных года до войны носился по улицам Харькова на такси, насвистывая модные танго и нагло подмигивая у светофоров знакомым милиционерам. Носил он короткий пиджачок, широкие брюки – тридцать сантиметров – и шелковую сорочку, ворот ее никогда не застегивался: глубоко презирал галстуки. После вечеринок у многочисленных приятелей он просыпался по утрам разбитый, болела голова, и, вспоминая, виновато морщился, не глядел в укоряющие глаза часто хворавшей матери. Отца не было, не было ни братьев, ни сестер, и он любил мать той особой любовью, которую называл уважением. По ее совету он очень рано женился на милой, наивно курносенькой, без памяти влюбленной в него браковщице Марусе, но по-прежнему дружки-шоферы, не умея обойтись без него, затаскивали его на вечеринки, он тоже не мог обойтись без них, и повторялись потом горькие упреки, слезы, которых он терпеть не мог, и, наконец, прощение, – она всегда прощала его, как, впрочем, и мать.

Мать от истощения умерла в эвакуации, и, узнав это, он, растерянный, непримиримо разозленный на жену за то, что не сумела сберечь мать, решительно написал ей, что любви между ними нет и не будет, и писем просил ему не писать, все равно читать их не станет. Но письма-треугольнички приходили, все чаще приходили, и на них дрожащим почерком было выведено: «т. Витьковскому Жоре», – а он рвал их, не читая.

На войне все пули и осколки летели мимо Жоркиной белокурой головы, и он не задумывался, убьют его или ранят, воевать было интересно и легко, – смерть простая, как глоток воды, не смотрела ему в глаза, не хитрила с ним, не играла, просто он обладал спокойным воображением.

– Шибздики! Дав-вай! – кричал Жорка сквозь торопливую дробь очередей, возбуждаясь от грохота боя, от жаркой гари раскаленного пулемета.

Телефонисты невнятно и глухо шумели за спиной на дне окопа, и он слышал между очередями, как они в два голоса кричали, что старшего лейтенанта Орлова рядом нет. А его требовали, вызывали к аппаратам из рот, минометчики докладывали, что один «самовар» накрыло, и Жорка краешком сознания догадывался, что началось главное. Однако не было уже времени рассмотреть происходившее сейчас на окраинах горевшей деревни. Он слышал только: там везде рвали воздух снаряды, высоко завывая, гудели моторы, стрельба особенно накалилась сзади – появилось

смутное ощущение взгляда в спину.

Жорка видел перед собой лишь овсяное поле, ползущие танки, фигурки бежали меж желтых копен, и он испытывал жгучие толчки в сердце, когда пулеметные трассы врезались в эти фигурки и они падали, оставались лежать неподвижно.

Он радовался, что убивал этих людей, которые хотели убить его и всех, кто стрелял из траншеи. Он страшно радовался тому, что убивал немцев из их же оружия – послушного ему МГ. Он никогда не ощущал такого мстительного, поглощающего все его существо чувства – в его ушах возбужденно отдавалась горячая дрожь раскаленного пулемета.

А паренек с пестрыми, как речная галька, глазами уже не моргал ресницами, не держал коробочку. Опустив лицо, он сползал в окоп, незащищенно прикрывая ладонью-ковшиком голову, непрочно щупая землю ослабевшими ногами, а другой рукой вяло цепляясь за Жоркину шинель.

– Держи ленту! Наложил! – крикнул Жорка насмешливо и пьяно, толкнул паренька ногой и, быстро оглянувшись, поразился тому, что увидел.

Паренек сидел, прислонясь спиной к траншее, по-птичьи свесив набок голову на слабой шее, в профиль лицо было задумчивым, усталым и спящим... Только темное пузырящееся пятнышко возле виска открыло Жорке тайну этого усталого спокойствия...

«А я конюхом был», – вспомнил Жорка доверчивый, искательный голос паренька, и стало смутно и жутко, что голос еще звучал, но его уже не было, и он один лишь помнил его, и он один видел, как паренек этот боялся и не хотел смерти. «А мне, знаешь, все ко-они, ко-они снятся».

Жорка несколько секунд не мог поднять головы, глядя то на вялую шею затихшего в окопе паренька, то на телефонистов, что-то орущих в трубки одичавшими голосами. Он слышал: близкие пулеметные очереди взбивали бруствер над головой, взвизгивали остро, пронзительно, и хотя ему стало ясно, что пулемет заметили и пристреляли, Жорка все же вынырнул из траншеи, уверенный, что пули ложатся не так кучно и прицельно, как это кажется снизу, из окопа.

Танки уже были у подножия высоты, и он видел теперь их черные, широкие, наклоненные лбы с траурными крестами, тупые башни, плещущие пулеметы и длинные дула орудий, бегло выталкивающие огонь. Вся высота была словно в круговороте разрывов, и вибрирующий рев моторов мгновенно вытеснил из Жоркиного сознания остатки воспоминаний об этом убитом пареньке с пестрыми глазами.

Он послал неприцельную очередь в лоб этой ползущей брони, искал глазами то живое, ненавистное, что бежало и стреляло возле танков, и, найдя, даже всхлипнул, засмеялся от облегчения и радости, припал к МГ горячей щекой.

Жорке страстно хотелось думать, что это он и несколько ручных пулеметов на флангах роты задерживают атаку немцев, отсекают пехоту от танков и тем самым замедляют их движение. Однако это было не так. Немецкая атака замедлилась на флангах, ее удар был направлен на центр роты, на самую высоту, где немцы, не ошибаясь, предполагали местонахождение КП. Жорка увидел, как три танка стали вползать на высоту, завывая моторами; короткие трассы взрывали землю.

Там часто хлопали противотанковые ружья, но звук их казался игрушечным, фиолетовые огоньки лопались на броне: танки двигались по скату, будто на дыбы вставали. И Жорка, размазывая пальцами по лицу пот, всхлипывая от бессилия, угадывая, что именно там сейчас капитан Ермаков, кричал:

– Дав-вай! Дав-вай!.. Ого-онь!..

А на КП происходило вот что. Капитан Ермаков, давно понимая соотношение сил, не удивился, что немцы направили удар на КП. Также он понимал, что в течение многих часов боя, носившего как бы разведывательный характер, немцы основательно прощупали огневые узлы батальона, и огонь, обрушившийся на центр высоты, где стояли три станковых пулемета и четыре расчета противотанковых ружей, явно был рассчитан на быструю парализацию обороны. Тогда Борис посоветовал Орлову – совет же этот больше походил на приказ – оставить на КП одно противотанковое ружье и один пулемет, все остальное – на фланги.

Орлов в фуражке, присыпанной землей, бледный от бешенства, лежал в это время, оттолкнув наводчика, у противотанкового ружья, посылал патрон за патроном в казенник. Его бесило, что он торопился, не мог прочно поймать в прорезь грань танка и промахивался. Его злило, что порвалась связь с третьей ротой. (Он сумел только крикнуть в трубку; «Держись до последнего!») И особенно взвинчивала его жуткая, непонятная тишина на левом фланге, где тоже несколько минут назад замолчали пулеметы и после них минометный взвод. Все эти тревоги, опасения, неопределенность, ощущение обреченности батальона – все это обрушилось на Орлова. В четвертый раз почувствовав удар ружья в плечо, он успел заметить фиолетово сверкнувший пузырек на корпусе танка. В то же время он встретил черный зрачок орудийного дула, в упор наведенный ему в глаза. Лопнувший звон наполнил Орлову голову. Его жарко толкнуло

в грудь, осыпало горячей пылью, ударило спиной о противоположную стену траншеи. «Ну, кажется, я полковником не буду», – мелькнуло в его сознании почему-то, и захотелось засмеяться над этой мыслью.

Борис был в четырех шагах, услышал в ядовито-желтом дыму, застелившем траншею, призывающий и хриплый голос: «Орлова... Орлова...» Подбежал и увидел: Орлов гибко подымался с земли, отталкивая наклонившегося наводчика, грубовато говорил:

– Ладно, ладно, чего ты меня, как девицу, лапаешь? Глаза вот землей засыпало... Прицельно бьют, макушку не высунешь. – И азартно закричал на наводчика: – К ружью! К ружью, несусветный папаша!..

– Рассредоточь пулеметы и ПТР на флангах! – повторил Борис. – Слышишь? Хватит тут одного пулемета и одного ПТР! Тут я останусь! Слышишь?

– Золотая голова, сволочь ты этакая! – неестественно громко и самолюбиво засмеялся Орлов. – Кто здесь командует: ты или я? Кто отвечает за батальон?

Он почти кричал, потому что был оглушен.

– Вместе ответим.

Все же Орлов снял людей, увел их с криком и руганью, на которую, привыкнув, давно никто не обижался, увел их, надежный, весь горячий, налитый жизнью до краев. И Борис, оставшись на КП с одним станковым пулеметом и лишь одним противотанковым ружьем, на мгновение почувствовал вдруг странную пустоту, будто оголилась земля и перестала защищать. Просто стал ему близок за эти часы Орлов.

– Все расковыряло, а ружье цельное, – не без удивления прокричал молодой наводчик, подняв продолговатое лицо, слабо улыбаясь тонкими губами. Борис не знал даже его фамилии.

– Смотри, что делают! – снова крикнул наводчик, которому недоставало, видимо, людских голосов после ухода расчетов с КП.

Внизу, под высотой, неохотно обволакиваясь черными змейками дыма, стоял танк. Обтекая его, два других вырвались вперед, стали взбираться на высоту, мелко задрожавшую от скрежета. Стремительно запылили гребни брустверов, сшибаемые очередями, свистящими в уши.

Где-то в мире существовали теория вероятности, всякие умные вычисления и расчеты средней длительности человеческой жизни на войне, существовали и расчеты количества металла, которое нужно, чтобы убить солдата. Очевидно, по этой теории, роты, рассыпанной на высоте, уже не должно было существовать. Но она существовала и продолжала бороться.

После того как Борис решился сказать, что дивизия перешла в

наступление, в нем все время жило ощущение, что батальон, упорно обороняясь, медленно умирает. А слух о наступлении молниеносно облетел весь батальон. Но эта ложь и последствия этой лжи, казалось ему, всей ответственностью ложились на его плечи, и он готов был ответить за все. Где был иной выход?

«В первый или во второй?» – глядя на танки, подумал Борис и, чувствуя, что сейчас все решится, с недоверием, как и Орлов, оттолкнул наводчика, лег за ружье, уперся плечом.

Он сделал подряд три выстрела, длительность между которыми не выдержал наводчик, – глаза его наполнились торопящим выражением ужаса. Эти выстрелы стоили Борису нечеловеческих усилий над волей. Воля вынесла два выстрела. Третий сделал указательный палец, надавив на спусковой крючок сам по себе. Это сработала не воля – инстинкт.

Две длинные искры высеклись на широком корпусе танка – это он хорошо заметил. Он заметил также и то, что второй танк, ревя, круто развернулся, будто извиваясь, и, набирая скорость, наискосок понесся по высоте. Он подставил бок под ружье Бориса. Этот бок ускользал и несся. Палец снова быстро нажал спусковой крючок. Но бронебойная пуля, сине чиркнув по борту танка, ударила рикошетом, ушла дугой в низкие облака. И вторая врезалась в облака красной стрелой.

Тогда Борис резко повернул ружье. Но и на этот раз пуля срикошетила. Ружье было бессильно. «Орудие... Если бы орудие!» Танк прорвался к траншеям. Он наполз на окопы. И появился в тридцати метрах от Бориса, со скрежетом подминая, разутюживая бруствер. Башня, как голова, повернулась, хищно выискивая, и ствол орудия, кругло выделяясь дульным тормозом, низко повис вдоль траншеи и замер.

Жаркий огонь, как смерч, пронесся над Борисом, казалось, сквозь фуражку поджег волосы, придавил его к земле будто горячей стеной. В левом ухе стало очень тепло. В тот миг сознание убеждало его, что он сейчас умрет. Но это же сознание передавало свои импульсы в нервы рук и глаз. И руки шарили по земле, искали то, что подсказывала память. Гранат не было... Гранат не было...

Потом он увидел сквозь дым, как солдат в двух шагах от него пытался вылезти из траншеи, не мог подтянуть тело, ноги соскальзывали по кромке бруствера. И его память тотчас подсказала, что он отвечает за живых и мертвых в этой траншее.

– Назад! Куда под пули? В траншею!

Солдат с серым птичьим личиком оглянулся блуждающе, прохрипел:

– Танки... прорвались... вон... наши отступают...

– Не танки, а танк! Ложись! Где отступают? Где?

Танк уже двигался по траншее вправо, обваливая, утюжа, давя блиндаж; дым разрывов перемешивался с горячими выхлопными газами.

– Где отступают? – закричал Борис и вскочил, пошатываясь.

И то, что он увидел в этот момент, объяснило ему все. Танки ползли справа и слева, обтекая высоту, входя в деревню. Какие-то танки двигались с тыла, ломая деревья, стреляли на улицах среди домов. Перед ними в сторону траншей бежали и падали люди. Люди бежали и по скатам высоты. А все овсяное поле, дальняя опушка леса, окраины деревни – все чернело, вздымаясь разрывами, и все небо дрожало от грубых натянутых струн. И воздух будто шуршал и колыхался под низкими облаками. И капал мелкий дождь, как пыль. И был, оказывается, закат за высотой, багрово-кровавая щель светилась, сплюснутая тучами над лесами.

И на фоне этого заката Борис отчетливо увидел на высоте черные силуэты танков. А небо все дрожало, вибрировало, налитое гулом, и в этом смешанном гуле неба и земли серыми тенями, совсем беззвучно, стремительно и низко вынеслась над лесом партия штурмовиков, вытянулась и сразу же пошла в пике над высотой, выбрасывая к земле острые вспышки пулеметов. И в ту минуту, готовый плакать и проклинать это помогающее ему небо, Борис подумал одно: «Наши ИЛы! Наши ИЛы!» – и страшным криком бессилия закричал в небо:

– Поздно!.. Поздно!..

Почти на бреющем полете, как бы прижатые дождем к плацдарму, штурмовики сделали пять разворотов над горящей деревней, скрипя «эрэсами», стирая с земли звуки боя, железный рев танков. Наводчик противотанкового ружья сидел у стены, непонимающими глазами глядел то на Бориса, то на пикирующие самолеты. Из его ноздрей струйками текла кровь, и рукав шинели был в крови. Он был тяжело контужен. На коленях его лежало покореженное противотанковое ружье.

– А ты кто? Пулеметчик? Где пулемет? – закричал Борис на солдата с птичьим личиком.

И тот, моргая от капель дождя, воровато озираясь, шевельнул губами:

– Там... убитый... второй номер я... отступают наши, отступают... все убитые. А наши ИЛы только пришли... пришли. Товарищ капи...

– К пулемету!..

Он с трудом отцепил мертво сжатые на рукоятках пальцы пулеметчика первого номера, оттолкнул его тяжелое тело – оно сползло в траншею, стукнуло возле ног – и тотчас понял, что все кончено. Потряхивая широкими плоскостями, ИЛы развернулись над деревней, где слабо

дымили подожженные грузовые машины, ушли на восток, почти касаясь верхушек леса.

Снаряды не вздымали овсяного поля, меркло блестевшего от моросящего дождя, прибитый дым от шести горящих танков тянулся по скату высоты меж копен, и там, спокойно перешагивая через тела убитых, шли в пятнистых плащ-палатках по полю человек восемь немцев, шли прямо на высоту. И именно то, что немцы двигались спокойно, а со стороны высоты не раздавалось ни одного выстрела (выстрелы хлестали справа, и слева, и позади), сказало Борису, что оборона сломана, ее уже нет.

С чувством, похожим на злорадство, он надавил на спусковые рычаги и увидел, что немцы упали, быстро поползли в разные стороны, прячась за бугорки убитых. Не оборачиваясь, он крикнул солдату:

– Беги по траншее, собирай всех сюда! Всех, кто остался...

Никто не ответил, – может быть, Борис не расслышал, он оглох на одно ухо. Оглянулся: солдата с птичьим лицом не было. Борис бросился к другой стене траншеи.

В деревне, ломая плетни, круто разворачивались черные танки. Сморщась и потеряв грудь до боли, Борис поднял чей-то автомат и пошел по траншее. Все, что он делал сейчас, делал как будто не он, а другой человек. Все делали руки, ноги, его тело. И то, что он думал, было отрывочно, но обжигающе отчетливо было одно: батальон погиб.

Глава двенадцатая

– Товарищ капитан! Это вы? Товарищ капитан!

Кто-то знакомый, как будто улыбаясь окровавленным лицом, в мокрой, обмазанной глиной шинели – мотался немецкий автомат на груди, – выскочил навстречу из хода сообщения. И несколько человек солдат с угрюмо напряженными лицами столпились за его спиной, тяжело дыша.

– Жорка! – крикнул Борис. Он едва узнал его: дождь смывал кровь со слипшихся волос, скулы и нежный мальчишеский подбородок – все в красных разводах, лишь белые зубы влажно блестели, открытые обрадованной улыбкой. – Жорка, ранен? – отрывисто спросил Борис. – Это кто с тобой? С каких рот?

– Царапнуло меня, – Жорка небрежно махнул рукой. – А это со всех рот. Человек тридцать. А я вас... на КП искал... Вы сами ранены, гляньте-ка, кровь из уха! И кобура расстегнута! Выронили ТТ? Возьмите, у меня запасной!

– Что? – спросил Борис, не все расслышав, и, взяв пистолет, никак не мог вложить его в скользко-липкую кобуру.

– Кровь у вас, товарищ капитан. – Жорка торопливо вынул грязнейший носовой платок, протянул Борису, спросил громко; – Что делать будем?

– Где Бульбанюк? Где Орлов?

– Не знаю, – И, обернувшись к солдатам: – Кто видел?

Солдаты молчали.

– Где Скляр? Раненых эвакуировали?

– Там одни убитые, товарищ капитан, – Жорка указал взглядом назад.

– Прорываться! – сказал Борис. – Будем прорываться. Есть здесь коммунисты и офицеры?

Жорка вытянул шею. Солдаты зашевелились, задвигали головами, но никто не вышел из гущи людей – коммунистов и офицеров не было ни одного.

– Всех побило, – объяснил кто-то. – До последнего стояли. Танками давил. Разве поймешь что? Мы вроде и остались.

– Куда же прорываться нам? В мышеловку завели! – вдруг глухо сказал другой, мутно блестя черными сверлящими глазами. – Везде они! Хана нам, видать! – И, злобно оскалась, потряс автоматом. – До последнего отстреливались!..

– Прекратить разговоры, – очень тихо проговорил Борис, бледнея, но

тотчас, усилием сдерживая себя, ткнул автоматным дулом в грудь солдата. – Вы... в мышеловке? Оставайтесь, к чертовой матери! – Он поднял голос: – Кто не верит – в сторону! Остальные – за мной! Витьковский, сосчитайте людей! Не отставать! За мной!..

Не оглядываясь, Борис быстро зашагал вперед по траншее. Он был уверен: люди пойдут за ним, другого выхода не было у них. Лил дождь, но он не охлаждал голову, бил в глаза, ослепляя, как удары иголок. Смыло багровый блеск заката, все свинцово затянуло дождем, ускоряя сумерки. Печально пахло горьким дымом, дождь пригасил пожары, но тугое урчание танков, торопливые, вздох, вспышки стрельбы доносились из деревни. Там добивали рассеянные остатки батальона, и автоматный этот треск сухо и остро давил Борису горло. Он задышался.

Вскоре Жорка догнал его, голова уже перебинтована, повязка побурела, набухла от дождя. Жорка прикладывал к повязке носовой платок.

– Двадцать два человека, товарищ капитан, с вами, – доложил он.

– Кто остался?

– Все идут. Смотрите, у вас погон кровью залило! Дайте перевязку, а?

– Ухо не перевяжешь, – усмехнулся Борис. – Совсем не буду слышать.

Оставь!

Потом шли и бежали молча, иногда останавливались, прислушивались к гудению танков, к неясным крикам в деревне, один раз пулеметной строчкой прострекотал где-то мотоцикл, и почудилось: губная гармошка на окраине проиграла.

Проходили огневую позицию минометчиков; четверо солдат, в неудобных позах застигнутые снарядами, лежали вокруг пустых лотков; и, прислонясь плечом к стволу одного уцелевшего миномета, недвижно склонив голову, сидел малознакомый Борису молчаливый лейтенант, командир взвода. Разбитые очки были втоптаны в грязь. Он стрелял, очевидно, до последней мины и, уже без очков, не увидел свою смерть. Он был близорук, а автоматчик, по-видимому, подполз к самой траншее.

– Подорви миномет, – вполголоса приказал Борис Жорке. – Брось гранату в ствол. И возьми документы у лейтенанта.

Жорка, молча кивнув, отстал; через минуту легкий взрыв колыхнул воздух за спиной, и Жорка, на бегу вталкивая за пазуху перетянутый резинкой бумажник лейтенанта, догнал Бориса,

Начались траншеи левого фланга роты, раздавленные танками, исполосованные широкими следами гусениц на обвалившихся брустверах. Обходили полужасыпанные темные тела, искореженные пулеметы, противотанковые ружья, торчащие из земли, клочки шинелей. В одном

месте была вмята в грязь офицерская фуражка, наполненная водой, как чаша. И будто током ударило Бориса, когда он поднял эту фуражку. Она могла быть Орлова. Да, это левый фланг, который держал Орлов. Борис глядел на желтые, обмытые дождем лица лежавших здесь убитых, но ни в одном из них не признал Орлова. И не было возможности искать. За ним шли живые, не терявшие маленькую надежду люди – двадцать один человек. Он вел их туда, к краю обороны, к реке, где мог быть выход.

Впереди слышались голоса.

– Жорка, вперед! – приказал Борис. – Осторожно! Зря не стрелять!

– Понятно! – ответил Жорка и, раскидывая в стороны пудовые ошметки налипшей на сапоги глины, побежал, оскальзываясь, вперед.

– За мной! – Борис ускорил шаги и тоже побежал.

За поворотом траншеи он едва не натолкнулся на Жорку. Тот стоял, переводя дыхание, плечи его подымались. Борис крикнул:

– Что остановился?

– Братья Березкины, – тихо сказал Жорка. – Эх, черт! Смотрите... Оба...

Так до последнего момента Борис и не научился их различать, двух мальчишек-близнецов Березкиных, ладных, никогда не разлучавшихся, ясноглазых москвичей. Он не знал даже, кого из них – Николая или Андрея – ранило в плечо возле орудия.

Теперь они, преданно прижавшись щеками к земле, лежали на бруствере среди стреляных гильз перед противотанковым ружьем, лежали, будто спали, крепко и навсегда обнявшись. И один – кто из них был Николай или Андрей? – плечом загораживал другого, а из-под обнявшей навечно руки белел бинт и смятый сержантский погон на разорванной гимнастерке. А в пяти шагах от них темнели глубокие вмятины гусениц поперек траншеи.

– Возьми документы и ордена, – сказал Борис Жорке и, стараясь больше не глядеть на братьев Березкиных, подал команду сжатым спазмой голосом:

– За мной! – И еще раз повторил: – За мной!

Спотыкаясь и падая, они бежали по вязким багровым лужам, по скользкой грязи, до коленей наполнившей траншеи, бежали двадцать два человека, те, кто еще жил и хотел жить.

Борис первый увидел: траншея кончилась... Он первый добежал до края ее и, задыхаясь, остановился – траншея упиралась в тупик. Высота отвесным обрывом висела над рекой, и глубоко внизу мутно темнела вода в дождевом тумане, и за ней недалекие леса проступали неясно.

Стараясь отдышаться, он грудью лег на размытый бруствер, сердце сумасшедше билось, стучало сквозь шинель в мокрую землю.

Он пытался увидеть то пустое пространство, ту брешь, то игольное ушко, сквозь которое он надеялся вывести людей. Ему все-таки казалось, что здесь во время боя в последние часы сохранялась относительная тишина. Но теперь он сразу понял: игольного ушка не было. Он увидел танки. Они чернели квадратами между обмокшими овсяными копнами на том сером пространстве поля, что отделяло реку от леса.

Он слышал, как за его спиной подбегали люди; слышал их хриплое дыхание, хлюпанье набрякших грязью сапог, сдавленные злобой и отчаянием голоса: «Танки, танки!»

В эту минуту он не знал, что надо делать. Но именно он должен был знать, что надо делать.

Тогда он повернулся так быстро, что эти обросшие, потерявшие надежду растерянные люди, столпившиеся в траншее, в тупике, уловив лихорадочный его взгляд, затихли, отведя глаза. Наверно, они поняли в это мгновение его готовность на все.

– Садитесь! – резко приказал Борис. – Все садитесь! Никому не маячить! Слышите? Вы!.. Там! Садитесь! Одному наблюдать! Жорка, наблюдать!

– Что он сказал? – послышались голоса задних. – Что он там сказал?

– Капитан сказал: «Садитесь!» – глухо пронеслось по траншее.

И люди покорно сели, двадцать один человек, которые хотели жить, – кто опустился на дно траншеи, кто присел на корточки, неожиданно обнажив из-под шинели напряженно трясущиеся колени, иные обессиленно прислонившись спиной к окопу, пригнув голову.

«Что я им скажу? Что я скажу? – соображал Борис. – Я не знаю, что им сказать!..»

Движения, которые он сейчас делал, уже не принадлежали ему: за ним следила двадцать одна пара глаз, она вбирала его в себя целиком.

– Так вот, – отрывисто сказал Борис и, сдержав дыхание, повторил: – Так вот... Всем слушать! Будем прорываться здесь. Здесь. Вот здесь. За высотой. Там река. А за ней – танки. Всем ясно? – подымая голос, почти крикнул он. – За ней – танки. Броском через реку. Мгновенным броском. И мы в лесу. Кто устал, снять, к чертовой матери, шинели. Не жалеть шинели! Бросить! Кто не хочет прорываться – выходи!

Он кидал эти острые и тяжелые, как камни, слова на головы людей, не жалея их, не прося пощады у совести. Он был уверен: так надо, так надо – возбудить, озлобить для беспощадного последнего броска, только это

обещало жизнь измученным зыбкой, ускользающей надеждой людям.

Расставив ноги и положив одну руку на кобуру, весь заляпанный грязью, вытирая смятым бурым платком струйку крови, колко щекочущую оглохшее ухо, он ждал; одно слово возражения и недовольства, и он совершил бы то, что должен был сделать в этих обстоятельствах.

«Что я делаю? Зачем? Разве кто-нибудь из них заслужил это? Неужели я в каждом вижу труса? Что я делаю?» – с холодным отчаянием подумал Борис, чувствуя, что еще минута – и до предела сжатая пружина распустится в его душе, и он, готовый плакать и скрипеть зубами от бессилия, потеряет волю над собой и людьми. И он высоким голосом повторил, сжимая пальцами скользкую кобуру:

– Так кто? Выходи!..

Никто не ответил. Все, к кому относились эти слова, скованно сидели, осыпаемые косо секущим дождем, прислушиваясь к мокрому кашлю пулеметов в деревне. Жорка Витьковский, лежа на бруствере, вдруг свесил голову в окоп, загадочно поглядел на солдат, покусав губы.

– Идут вроде, – сказал он шепотом. – Траншеи вроде проверяют. Сюда идут... – и на животе сполз в окоп, ударил ладонью по диску.

Все с глухим шумом вскочили в траншее. Борис, сдвигая на грудь автомат, предостерегающе скомандовал:

– Ни одного движения! Тихо!

Вдоль траншеи, негромко переговариваясь, шли люди в тускло блестящих плащ-палатках, приседали, заглядывали в разрушенные блиндажи, мигали фонарики. Потом кто-то позвал совсем рядом:

– Felix, Felix! Komm zu mir! Sie schlafen!!¹

Трое возникли на бруствере, и один из них, приседая, указал вниз, в траншею, – кажется, это было то место, где лежали убитые братья Березкины. Первый поднял автомат, засмеялся и выпустил длинную очередь.

В следующее мгновение эти трое упали. В руках Бориса и Жорки Витьковского одновременно затряслись автоматы.

– За мной!

Девятнадцать человек выскочили из тупика траншеи и покатились, падая и скользя по обрыву с высоты вниз, к реке. Аверху остались лишь трое: Жорка Витьковский с двумя солдатами, фамилии которых Борис даже не знал. Он успел им крикнуть: «Прикрывай до реки!» Все было липко, размыто, скользко от дождя. Он падал на обрыве несколько раз. И только в моменты падения его неоглохшее ухо улавливало стрельбу наверху.

– Вперед!.. Вперед!..

Этот крик бился в его горле и заглушал все.

Он увидел черную воду, черные кусты, глянцевитую полосу размытой глины на берегу. Огненные мухи метались в кустах, резали ветви, влипали в вязкую глину. Он ничего не понял: была сплошная стена красных мух. Они неслись наискосок, навстречу, сверху и слева, со стороны деревни.

Этот чудовищный рой, свистя и взвизгивая, несясь над рекой, над берегом. Борис бежал сквозь него впереди всех, видя только глянцевитую полосу глины, которая мчалась ему навстречу. Он слышал лишь свой голос – незнакомый и страшный:

– Вперед!

Перед самым дулом автомата мелькнула широкая и согнутая спина. Его обогнал солдат. Борис почему-то отчетливо заметил оторванный, мотающийся хлястик шинели, заляпанные глиной распустившиеся обмотки. Они, извиваясь, хлестали, били солдата по ногам. Потом странно споткнулись, подкинулись обросшие ошметками ботинки. Человек исчез. И тотчас земля бросилась, ударила в лицо Бориса. Он с размаху упал, налетев на большое, неподвижное мягкое тело. Цепкая рука схватила его за полу шинели, дернула к себе. Помутненные глаза, изумленно расширяясь, старались найти его глаза, и он услышал прерывистый хрип:

– Не спеши, капитан. Все на том свете будем... – и, выпустив полу Борисовой шинели, солдат схватился за грудь, выдавил с кровавой пеной горестно усмехнувшихся губ: – Только в разное время...

Борис оглянулся. Сплошная багрово-красная метель мелькала, звенела, неслась над ним, застилая небо. И никто не бежал по берегу. Он увидел несколько человек. Они ползли. Они почти бежали ползком. И еще он увидел: оттуда, сверху, из траншеи, где оставалось прикрытие, захлебываясь, хлестали по берегу, по ползущим людям немецкие автоматы.

– Вперед!.. Вперед!..

Он вскочил и, сделав несколько шагов, снова оглянулся. Люди ползли. Сердце поднялось, билось возле горла Бориса.

– Впере-е-ед!.. – закричал он диким голосом и вскинул автомат. – Впере-ед!.. Встать!

Люди вставали и падали. Их тянула земля.

Он скачками подбежал к реке.

Он не почувствовал холода воды. Она глухо и плотно ударила его выше коленей, облепила ноги путами. Преодолевая ее силу, задыхаясь, он бежал сквозь переkreщенные, спутанные, визжащие трассы, он стрелял из автомата, выкрикивая ругательства, а сердце, застрявшее в горле независимо от его воли, отчаянно ожидало деревянного удара в голову и

падения в воду. «Что это, я боюсь умереть?» – мелькнуло у него.

Все: вода, небо, тот дождливый, серый берег – гремело, бурлило, колыхалось перед глазами и несло вкось, как в бредовом жару. Кто-то упал рядом, нелепо вскинув подбородок и протянув вперед руки, выронившие автомат. Солдат без оружия, возникнув худенькой мальчишеской спиной, на которой бился вещмешок, обогнал Бориса, зажав простреленную кисть пальцами. И вдруг, раскрыв удивленно рот, выкатив испуганные глаза, осел мягко в воду, медленно провел рукой по лицу и исчез, будто его и не было.

Борис уже не бежал к приближающемуся берегу, а шел, пошатываясь, его валило с ног течение. Он хрипел:

– Вперед!

Он схватился за глинистый берег, лег на него грудью, закинул ногу и медленно на слабеющих, дрожащих руках вытянул тело из воды. Он не мог встать. Не было сил. Он не мог передохнуть. Он чувствовал, что лежит на берегу перед немецкими танками и не может сдвинуться с места.

– Товарищ капитан! Ранены? – закричал кто-то над самым ухом, и в эту минуту Борис смутно увидел искаженное тревогой бледное лицо Жорки и возле его лица – мокрый автомат, придавленный к земле синими пальцами.

– Вперед, Жорка... в лес, – выдавил Борис. – Где остальные? Где остальные?..

– Здесь Скляр! – закричал Жорка, отводя глаза. – Вон остальные!

Борис оглянулся и, стиснув зубы, стал на одно колено. Несколько человек карабкались на берег, впиваясь обессиленными пальцами в глину, упирались в нее подбородком. Пули красным роем вились над ними, полосовали по воде.

– В лес! За мной! В лес!

Какие-то люди бежали им навстречу, появляясь и пропадая меж копен. С ревом и грохотом возникло черное тело танка, из открытого люка лучами выбивался свет, – пронесся над головой вихрь пулеметных очередей, окатило, как горячим паром, гарью бензина. Из-за танка, путаясь в треугольной плащ-палатке, боком выскочил человек, присел, вскинул автомат. Борис первый нажал спусковой крючок, и в ту же минуту мимо уха промчалась шумящая радуга. Снова возникло впереди темное туловище танка. Два человека лежали на нем, и один стрелял сверху, другой закричал что-то, подняв руку. Потом они исчезли. Борис задел ногой за мягкий бугор, заметил пулемет, окоп, белое лицо в нем и выпустил в это лицо всю очередь.

– За мной! Не отставать!

И сразу стало темно, влажно и непроницаемо глухо, будто забило ватой уши. Как в сыром колодце, Борис бежал, захватывая ртом воздух, тяжело спотыкаясь, – сучья, колючие ветки острой проволокой цеплялись за ноги. Сзади вразброд каркали автоматы, но этот звук, странно угасая, скользил мимо сознания – кровь толчками билась в висках. Одно, что Борис ясно осознавал сейчас, было – прорвались в лес.

«Я вывел, кажется, я вывел людей», – подумал он, и вдруг тишина ударила по нему, сомкнулась вокруг и сжала его, как песчинку во тьме. Он остановился. Он не услышал топота ног, движения за собой. Никто не бежал за ним. Пошатываясь, готовый упасть, Борис повернулся и сделал несколько шагов назад. Но никого не было. Он был один. Тогда, обдирая о кусты руки, лицо, он побежал обратно к опушке, где редко строчили по тишине автоматы. Из этих звуков он выделил отчетливый треск кустов впереди и, вскинув автомат, прохрипел.

– Кто идет?

– Товарищ капитан? Я это... Вы куда? Там фрицы.

– Жорка?! Где остальные? Где остальные?

– Полегли под танками. Бежали за вами, а потом...

Они стояли, прерывисто дыша друг другу в лицо.

– Я искал Скляра. Я видел Скляра, – говорил Жорка. – Он бежал за вами. Он отдал сумку Бульбанюка. Вот, смотрите. Я видел, как он... Он успел в лес.

– Где остальные? Не может быть! Прорвался же кто-нибудь!

– Я видел Скляра, я видел, – повторил Жорка и, настороженно прислушиваясь, тихо добавил: – Товарищ капитан, нам идти надо...

– Не может быть! Прорвался же кто-нибудь! – с тоской повторял Борис. – Прорвался же кто-нибудь!..

– Я видел Скляра. Нам поискать бы его...

Было темно, их душила застоявшаяся горькая прель гнилых папоротников. Борис сказал чужим голосом:

– Да, идем.

– Подождите...

– Что?

– Подождите. Слышите?

– Что?

– Говорят. Впереди говорят.

– Кто «говорят»? Бредишь, Жорка? Идем!

– Подождите. Говорят. – Жорка весь напрягся, подался вперед и

неожиданно негромко и внятно позвал: – Скляр! – И повторил громче и решительнее: – Скляр! Сюда!

– Что ты слышишь, Жорка?

– Тихо, слушайте!

Оба замолчали, вслушиваясь в густую тишину черного леса, в глухой лепет капель среди мокрых листьев, – недалекие людские голоса донеслись до них и затихли.

– Скляр! – снова позвал Жорка. – Скляр, сюда! Скля-ар!

Тишина застыла между ними и теми голосами, что всплыли и оборвались в сырой чаще, в нескольких шагах от них.

– Скляр! – уже в полный голос крикнул Жорка. – Сюда! Давай сюда, чужак! Это мы!

Была тишина. Испуганное эхо задело ветви, и где-то рядом посыпались капли с утихающим, струящимся шумом. Кто-то, казалось, осторожно шел к ним через кусты, едва уловимо потрескивали ветви.

– Скляр!

И внезапно отчетливый и напряженный голос ответил из кустов:

– Я-а!..

Жорка тихо, обрадованно засмеялся и, суматошно ломая ветви, бросился к кустам на этот близкий, неуверенный голос; в ту же секунду оглушительный треск распорол тишину, и Борис увидел, как Жорка с разбегу натолкнулся на что-то огненное и острое, вылетевшее ему навстречу в грудь.

– Жорка! Наза-ад! – закричал Борис, падая на землю, и уже на земле услышал в ответ прежнюю затаенную тишину.

Только осыпались, невнятно перешептываясь, капли в кустах.

– Жорка!

И тот же голос, отчетливый и напряженный, ответил протяжно из кустов, где струились капли:

– Я-а!

Косточка указательного пальца сама собой впилась до онемения в спусковой крючок. Автомат яростно заколотил в плечо Бориса, как живой, и тотчас смолк – весь диск вылетел одной длинной очередью, а палец еще торопил, дергал крючок...

Борис очнулся в таком тягостном, в таком душном цепенеющем безмолвии – слышал глухие удары сердца. Не мог передохнуть.

Ничего не видя, он встал, ощупью прошел к кустам, где натолкнулся на свою смерть Жорка. Он так же ощупью нашел его. Жорка лежал лицом вниз, прикинув грудью к земле, и не шевелился, раскинув руки. Борис

взял его за обмякшие плечи, осторожно положил его на спину, назвал по имени с открытой и ненужной сейчас нежностью. Жорка еще дышал жарко и часто, и Борис, прикоснувшись на его груди к чему-то горячему, вязкому и влажному, подумал, что все кончено с белокурый, отчаянным, веселым Жоркой.

Один он шел по непроницаемо-черному лесу в дремотном шорохе капель. Он в бессилии хватался руками за холодные стволы мокрых деревьев, крепко прижимался лицом к корявой коре, стараясь остудить его. Он был один-единственный из всего батальона, прорвавшийся сюда сквозь заслон танков на берегу. С ним были только сумка лейтенанта Ерошина, сумка майора Бульбанюка, документы и ордена братьев Березкиных, документы и ордена Жорки.

Иногда ему казалось, что его окружают в темноте голоса, наплывают какие-то красные, широкие, бесформенные лица, с вибрирующими перебоями гудят танки. Он вздрагивал, пальцы впивались в пистолет, – тогда он останавливался, вдавливаясь лицом в мокрую кору. И, лишь приходя в себя, чувствовал мучительную, непроходящую тоску, остро впившуюся в сердце, как осколок.

Прежде был он убежден, что любое чувство можно подавить в себе, но он не мог этого сделать сейчас и не пытался. Память его, не угасая даже в мгновения забытья, была дана ему как в наказание. Борис шел все в одном направлении, не ища дороги, – было ему в конце концов все равно. Он спотыкался, будто что-то острое, знобящее и холодное воткнулось ему в грудь.

«Почему все так боятся смерти? – думал он. – Да, смерть – это пустота и одиночество. Вечное одиночество. Я командовал батальоном – и остался один. Так разве это не смерть? Так зачем я еще живу, когда все погибли? Я один?..»

Его ладонь притронулась и ощупала эту тоскливую, непрекращающуюся боль в груди. Но он не испытал жалости ни к этой боли, ни к себе. Указательный палец другой руки стал пробовать упругость спуска ТТ. «Зачем? Стоило ли прорываться этой ценой? Зачем? – опять думал он, закрывая глаза, обливаясь горячим потом. – Кто здесь судья? Я сам над собой. Убить себя – это оправдание перед памятью, перед самим собой и людьми». И он почувствовал зависть к Бульбанюку, у которого не было другого выхода.

Вдруг смутные голоса возникли в лесу. Он остановился, весь напрягся: «Что это? Здесь рядом дорога?.. А! Спасибо вам, вы сами на меня идете. Я

точно все рассчитаю. Спасибо вам!..» Он усмехнулся одеревеневшими губами и, сжав зубы, расталкивая кусты, напрямик пошел на голоса, стиснув в пальцах железный комок пистолета. Но дороги нигде не было. Голоса смолкли.

«Что это?» – удивление подумал Борис и никак не мог вспомнить, в какой стороне были голоса.

Потом за спиной близко простучали автоматные очереди, и Борис, толчком повернувшись, увидел, как во тьме леса засветились огненные нити пуль. И он пошел туда, назад, на эти выстрелы, дрожа от злости и ненависти, с бешеной верой в то, что он не уйдет отсюда, пока не соберет тех, кто остался жив.

Глава тринадцатая

Полковник Гуляев, срочно вызванный с плацдарма, на исходе ночи переправился на левый берег Днепра и к утру прибыл в штаб дивизии.

Адъютант Иверзева, перетянутый крест-накрест ремнями, выказывая радостную приятность в лице, выпустил к потолку дымок сигареты, участливо спросил:

– Вы оттуда? Вас обрызгало, товарищ полковник! Весь плащ... Лупцует? Нет? На лодке форсировали?

– Не ваше дело! Бросьте папиросу и немедленно доложите! – грузно шагнув к нему, поднял голос Гуляев. – Слышите, вы! Быстро!

Адъютант, невозмутимо округлив ореховые глаза, оправил гимнастерку, скользнул за дверь и скоро вышел, смиренно наклонив гладко причесанную голову.

– Вас очень ждут, – проговорил он, опуская слова «товарищ полковник» и как бы воспитанно мстя Гуляеву за грубость.

Полковник Иверзев, проведя бессонную ночь, ужинал или, вернее, завтракал на краю стола, застеленном белой салфеткой. Он задумчиво-медлительно, глядя перед собой, отрезал кусочек мяса на тарелке, однако, услышав шаги Гуляева, перестал есть, энергично промокнул губы салфеткой и холодно и прямо посмотрел на вошедшего полковника синими невыспавшимися глазами и некоторое время ждал. На угрюмом и опухшем лице Гуляева с набрякшими мешками под веками было выражение раздраженности и непонимания. Он сказал:

– Я, возможно, ошибся, товарищ полковник, но...

– Связались с батальонами? – перебил Иверзев тем подчеркнуто официальным и сухим тоном, который сразу все ставит на свои места.

Полковник Гуляев глухо ответил:

– С батальоном Бульбанюка связи нет. Батальон Максимова вступил в бой, требовал огня. Вы приказали огня не открывать. Не понимаю, в чем дело, товарищ полковник. Как командир полка, я прошу разъяснений.

Гуляев стоял перед столом, подобрав живот, строго, хмуро глядел в румяное и молодое лицо Иверзева.

Иверзев, нервными, гибкими пальцами поймав на столе толстый граненый карандаш, переспросил нетерпеливо:

– Так. Значит, приказ вам неясен? Совершенно неясен?

– Пока еще нет, товарищ полковник, – ответил Гуляев.

Отрезвляюще жестко поскрипывая сапогами, Иверзев приблизился, заложил руки за спину, плотный, на голову выше полковника, и Гуляев видел его чисто выбритый крутой подбородок, его свежий подворотничок. Иверзев сказал, отливая в тугие формы слова:

– Приказ о прорыве на нашем участке южнее города Днепрова отменен. Вся дивизия снимается и перебрасывается севернее Днепрова. Будем брать город с севера. Батальонам Бульбанюка и Максимова не отходить, держаться там, где они ведут бой. Вот суть приказа.

Было очень жарко в этой комнате с занавешенными плотной бумагой окнами, – по-видимому, к ночи истопили печь, пахло жженой соломой и чуть-чуть одеколоном. Полковник Гуляев почувствовал горячие струйки пота под мышками, нестерпимо хотелось со лба, с шеи вытереть жаркую испарину. Но он этого не делал – смотрел на Иверзева в упор тяжелым, немигающим взглядом. Молчал. Потом ему показалось: кто-то тихо остановился за его спиной и дышит. Повернувшись всем телом, он увидел бесшумно вошедшего начальника штаба Савельева. Худое, умное лицо подполковника стало болезненно серым, на ввалившихся щеках легли тени. Он поздоровался одними глазами и негромким, ровным голосом человека, привыкшего к штабной тишине, заговорил:

– Восемьдесят четвертый полк снялся, находится на марше. Пятнадцатый идет за арtpолком. Артиллеристы снялись час назад. Пятнадцатый только сейчас... Семенов запрашивает, убирать ли связь?

– Это, я думаю, вы могли бы решить и без меня, – пожал плечами Иверзев и быстро произнес в сторону Гуляева: – Вот видите, полковник не понимает сути приказа. Может быть, приказ недостаточно ясен?

– Семенов запрашивает относительно связи, – негромко, но настойчиво повторил Савельев. – Это связь с плацдармом, товарищ полковник. С ротой Верзилина и батареей Кондратьева.

Гуляев не пытался уже вникнуть в смысл этих слов. Он лишь ловил сочувственный взгляд Савельева и думал, что судьба его полка, его батальонов теперь в большей степени зависела не от него, командира полка, а от какой-то всезнающей высшей силы, которая управляла и Иверзевым, и им, полковником Гуляевым, и его людьми.

– Нет, я понял суть приказа, – произнес наконец Гуляев, уже хорошо сознавая всю сложность своего положения и всего того, о чем он думал сейчас. – Но батальоны вступили в бой, товарищ полковник... просят огня... А как я понял – арtpолк снялся? Кто будет поддерживать Бульбанюка и Максимова?

Иверзев обернулся к Гуляеву, нетерпеливо подняв брови, взглянул с

жалостью, и полковник понял никчемность своего вопроса.

– О чем вы, полковник? Ей-богу! Вы не первый день в армии! – холодно проговорил Иверзев, в синих глазах его возник твердый блеск, который сказал Гуляеву, что для Иверзева все уже решено и взвешено. – Мне не нужно вам объяснять, что дивизию перебрасывают по приказу командующего армией. Я повторяю: действия двух батальонов по-прежнему носят серьезный отвлекающий характер. Батальоны должны создать у немцев впечатление, что мы по-прежнему активизируем силы южнее города, именно на участке Ново-Михайловки и Белохатки. Цель операции: отвлечь часть немецких сил, подвижные резервы, дезориентировать противника. Главный же удар будет нанесен севернее города. Думаю, что все понятно? Тем более что времени у нас в обрез. Любыми средствами передайте батальонам: держаться, до последнего держаться!

Гуляев молчал, глядя в губы Иверзева ничего не выражающим, тусклым взглядом. Он понял все.

Подполковник Савельев, торопливо набив трубку, чиркнул спичкой, сделал несколько затяжек, желтые худые его щеки ввалились глубоко.

– Василий Матвеевич, – произнес он ровным голосом. – Я только что связался по радиации с Максимовым и передал ему приказ. Но я не мог связаться с Бульбанюком.

– Я вам сообщал, товарищ полковник, – проговорил Гуляев, обращаясь к Иверзеву. – Сообщал, как сложилась обстановка в батальонах. Может быть, есть возможность связаться с артиллерией соседних частей? Или с авиацией?

– Вся работающая на нас авиация занята Днепром, вся основная артиллерия концентрируется севернее города. Тем более что именно сейчас, когда мы с вами теряем время на ненужные объяснения, немцы контратакуют севернее Днепра танками. Батальоны поддержит батарея Кондратьева, всеми снарядами, что есть на его плацдарме. Что касается авиации – я уже связался. Помогут штурмовики, – сказал Иверзев и, пристально разглядывая крупное лицо Гуляева, добавил сухо: – У меня создается впечатление, что вы в чем-то не уверены, полковник. В чем?..

– Не уверен?

Безмолвно сосал трубку Савельев, уставясь себе под ноги, обтянутые аккуратными сапогами, не скрывавшими худобы икр.

– Как командир полка, я в первую голову отвечаю за свои батальоны! – упрямо ответил Гуляев. Его злил холодный, сожалеющий взгляд Иверзева, его синие самоуверенные глаза, в которые ничто не проникало, злило

участливо-беспомощное молчание Савельева. – Вы знаете, что в батарее Кондратьева только два орудия?

Савельев слабой рукой тронул высокие, влажно заблестевшие залысины, посмотрел вопросительно на Гуляева, потом – вскользь – на Иверзева. Командир дивизии, сев к столу, с застывшим лицом барабанил пальцами по карте.

– Идите и выполняйте приказание! – громко и отчетливо сказал он. – Для связи с батальоном Бульбанюка находите любые средства! Вам все ясно?

– Мне все ясно. – Гуляев, побагровев пятнами, стал медленно застегивать плащ, еще не просохший от днепровской воды. – Все ясно, – добавил он.

И, сдерживая одышку, надел фуражку.

Тишина провожала его во вторую комнату.

Адъютант Иверзева, тот самый вежливый, воспитанный лейтенант, небрежно поставив на лавку ногу в начищенном сапоге, лениво курил, разговаривая с писарями. Слегка изменив позу, он лишь из-за плеча скользнул зрачками по грузной фигуре, по старому, потертому плащу Гуляева и проговорил томно, разгоня ладонью дымок сигареты:

– Всего наилучшего! Вас проводить?

«Прыщ эдакий! Развели тут в штабе кур! Не-ет, при Остроухове такого не было!» – сбегая по ступеням крыльца в темный двор, подумал Гуляев, не любивший ни благопристойных писарей, ни наглых адъютантов, приобретающих самоуверенность под сенью близости к власти.

Было темно, шуршали тополя, моросило.

Полковник Гуляев вышел на улицу, сел в «виллис».

Два часа назад Иверзев получил приказ командующего армией: немедленно перебросить дивизию на плацдарм севернее Днепрова, соединиться с истрепанной танковыми контратаками немцев 13-й гвардейской дивизией, с дальнейшей задачей – участвовать в штурме и захвате города. Получая приказ, Иверзев почувствовал, что форсирование Днепра на старом участке в районе острова после всех неудачных попыток уже не играло решающей роли в общем наступлении, как это было задумано ранее. Прежняя цель – любой ценой переправить дивизию на правобережье, расширить плацдарм, занимаемый ротой капитана Верзилина, и начать наступление всей дивизии южнее Днепрова – меняла свой характер.

В тот момент, когда Иверзев получал приказ, он знал уже, что

батальону Максимова грозит окружение, что батальоны начали бой и просят огня, и на какую-то долю секунды он с тревогой испытал холод под ложечкой и мление в ногах. Он сказал, что два батальона в тылу немецкой обороны завязали бои, что батальон Максимова, по-видимому, в окружении, что дивизия готова к броску, и, говоря об этом, он все время думал о батальоне Бульбанюка, с которым не было связи по рации, и о неполном комплекте боеприпасов. После его доклада командующему об уничтоженном немецкими самолетами эшелоне боеприпасов, которые не успела принять и разгрузить дивизия, генерал нахмурился, и Иверзев сейчас же добавил, что более половины боеприпасов спасено. Он сказал также, что сам был на этой станции и видел, как сильно пострадала материальная часть других дивизий, и поэтому не просит боеприпасов из резерва. Этого требовала справедливость по отношению к другим дивизиям.

Генерал сказал:

– Ваши батальоны удачно нащупали разрывы в немецкой обороне и начали действия южнее Днепра под Ново-Михайловкой и Белохаткой. Эти действия носят вспомогательный характер. Цель батальонов: сковать силы противника на этом участке, затруднить их переброску в район севернее Днепра, где будет нанесен главный удар нашей армией. Ваша дивизия входит в состав ударной группы на севере. Вы поняли меня, конечно?

Иверзев ответил:

– Так точно, товарищ генерал.

– Отлично. Теперь эти батальоны многое решают. Они заставят обратить внимание немцев на себя. Они оттянут сюда часть сил от Днепра. Там немцы усиленно контратакуют Тринадцатую гвардейскую дивизию. Как говорят пленные – хотят искупать русских в Днепре и отстранить угрозу от Днепра. Передайте батальонам – вести бой на правом берегу. Держаться в любых обстоятельствах.

И в ту минуту Иверзев опять ощутил желание сказать командующему о том, что батальон Максимова, очевидно, в окружении, что неизвестно положение в батальоне Бульбанюка, но это уже, как он понимал, не имело решающего значения. Выслушав приказ, он сказал тихим голосом: «Слушаюсь», – и вышел решительно, твердыми шагами.

Однако по дороге в дивизию он почти расслабленно полулежал на заднем сиденье, и шофер не оглядывался на него – знал: когда полковник садился не рядом, а позади, тогда оглядываться и спрашивать не стоило. Командир дивизии не любил в эти минуты излишнего любопытства.

Думая о разговоре с командующим, Иверзев сознавал, что именно теперь, после нового приказа, он не сможет поддержать батальоны всей силой огня, как было задумано прежде. Выбор один: или огонь, поддерживающий под Днепровом дивизию, или огонь, облегчающий в какой-то мере участь батальонов. Другого выхода нет. И хотя он мучился тем, что не попросил снарядов из резерва, не попросил дополнительных огневых средств, он понимал, что и это не решало положения. Он должен был перебросить артполк на северный плацдарм. Так или иначе, смысл операции ясен. Батальонам держаться насмерть своими огневыми средствами. Этого требовали сложившиеся обстоятельства.

Он внезапно приказал остановить машину и сел возле шофера с холодным, непроницаемым лицом, с тем самым выражением надменной непреклонности, какое видели всегда подчиненные и которое вызывало у них неприятное к нему чувство.

Утро медленно входило в силу, тусклое и пасмурное, осеннее. Туман, как серая вода, до крыш затопил деревушку, подступил, прилип к окнам. В штабе полка не гасили ламп. Никто не спал ночь, никто не вздремнул в сонливый час рассвета.

Полковник Гуляев, накинув на плечи шинель, опершись локтями о стол, сидел, прикрыв тяжелые веки, дрожащими пальцами гладил лоб. Рядом ерзал на лавке, аккуратно прижав бечевочной петелькой к уху телефонную трубку, связист Гвоздев, наивный, губастый парень с наголо стриженной головой. Он изредка старательно дул в мембрану, и тогда полковник спрашивал отрывисто:

– Ну? Что? Что вы там шепчетесь, Гвоздев?

– Никак нет, – шепотом отвечал Гвоздев. – Молчат...

Визгливо скрипнула дверь. На пороге выросла высокая фигура начальника штаба майора Денисова. Молодой, свежий, всегда весело улыбающийся дерзкими живыми глазами, которые, казалось, готовы озорно подмигнуть, он любил риск, острую речь, носил щегольские шпоры и порой чем-то напоминал полковнику капитана Ермакова.

– Не отвечают, товарищ полковник, – сказал Денисов, подходя к столу. – Будь моя воля, снял бы я штаны с Бульбанюка да всыпал бы ему по тому месту, где спина теряет благородное название, и приговаривал бы: «Не хитри, не хитри, крестьянская твоя душа!» Ведет давно бой – и ни одного слова по рации. Час назад я успел передать одно слово: «Держаться!» И не получил данных. Что с ними? Что у них? Потемки... Не верю, чтобы Бульбанюка накрыло. Чрезвычайно осторожен.

Он раскрыл портсигар, небрежно кинул папиросу в рот, высек огонь зажигалкой и вдруг, поверх огонька, пристально сощурился, взглянул на серые окна – так иногда смотрел капитан Ермаков.

Полковник Гуляев встал, спросил медленно:

– Ты что... так смотришь?

– Нет, ничего. – Денисов, будто опомнясь, погасил зажигалку и, не прикурив, пошел, звеня шпорами, к двери. На пороге стал вполоборота, некоторое время глядел на Гуляева с тем же пристальным выражением, потом сказал: – Можно сделать попытку прорваться к Бульбанюку взводом. Вот вы послали четырех разведчиков, товарищ полковник. Но нет большой надежды, что они установят связь с батальоном. Пройдут ли они через немецкую оборону?

– Что? Так лучше взвод положить? – Гуляев стукнул кулаками по столу, мигнула лампа, связист Гвоздев вздрогнул и робко нагнулся к аппарату. – Вызывайте батальон по рации, без конца вызывайте! Что предлагают! А! Для чего вас в штабах держат? Для экспериментов с оловянными солдатами? Ишь, храбрецы!..

– Вы говорите обо мне во множественном числе, – без выражения обиды ответил Денисов и вышел более невозмутимый, чем всегда.

Гуляев слышал: тонко протренькали шпоры майора в соседней комнате, затихли, и потом за стеной прозвучал его шутиливый голос:

– Так вот, детка, кака картинка – вызывайте, вызывайте, вызывайте. Душа из вас вон!

Шумно дыша – мучило сердцебиение, – Гуляев движением плеч поправил сползавшую шинель, крупно зашагал от стола к окну, остановился, тупо посмотрел на матово запотевшее окно, как будто еще оставался там, отражаясь, такой знакомый, такой спокойный и самоуверенный взгляд.

«Экая простокваша! – подумал Гуляев, морщась, следя за движением тумана по стеклу, уже жалея, что накричал на Денисова, и поэтому еще более раздражаясь. – Что это я? Для чего? Та-ак. Оч-чень мило!»

– Оч-чень мило! – произнес он вслух и передернул плечами, теперь с отвращением увидев свое грубое, отраженное в стекле лицо, и не увидел, а почувствовал свой полный, оттопыривающий китель живот, всю свою грузную, налитую фигуру, – в нем давно не было дерзостного порыва молодости. Да, да, она, молодость, не оглядывается назад, за спиной нет ни бремени опыта, ни расчетливого, холодного терпения старости.

«А что ж, может быть, действительно прорваться к Бульбанюку? Не думать – и прорваться. Глупость!.. Без артиллерии? С одним батальоном?..»

– Оч-чень мило! – повторил он, круто поворачиваясь, и раздраженно опустил брови. – Оч-чень!..

Гвоздев, нерешительно вынув, разглаживал, мял на коленях кисет.

– Ну? Курить? – брюзгливо спросил Гуляев. – Давно бы закурил. Ну-ка, давай сюда кисет. Что у тебя? Махра? Самосад! Завернем, да? Щоб дома не журились?

– Газетки бы, товарищ полковник, – обрадованно заулыбался Гвоздев, протягивая кисет.

– Найдем. Майор Денисов! – крикнул Гуляев.

Никто не отозвался. Однотонный голос радиста бормотал позывные за стеной, будто капли падали в тишине:

– Ромашка, Ромашка, я Роза... я Роза... я Роза... Даю настройку... Один, два, три...

– Майор Денисов! – снова крикнул Гуляев.

Денисов появился на пороге, распахнув завизжавшую дверь, сказал четко и весело:

– Связь с Максимовым!

Бросив кисет, Гуляев быстро прошел к рации. Здесь беспокойным красным накалом горели лампы приемника. Обросший синеватой щетиной радист, придерживая пальцами наушники, поднял на полковника словно заострившиеся в воспаленных веках глаза и вдруг заговорил поспешно, негромко:

– По приказу остаюсь. Мы в окружении. Веду бои... Потерял больше половины единицы... Больше половины... Почему нет огня? Нет огня... У нас кончились огурцы! Кончились огурцы. Дайте огня... по шоссе... Дайте огня по шоссе. По шоссе из Белохатки... Дайте огня... Я Ромашка. Ромашка. Я кончаю. Я кончаю. Немцы атакуют... Я кончаю... Мы ждем огня... Даю угломер и прицел... Все, – потухающим голосом закончил радист, повторив дважды угломер и прицел.

Все стихло. Радист молча, ссутулясь, прижимал наушники, и полковник Гуляев, глядя в его унылую длинную спину, ждал и думал. Майор Денисов тыльной стороной пальца гладил выбритую щеку, хмурился.

– Что «все»? А ну-ка, вызывайте Бульбанюка, без конца вызывайте! Вызывайте! – Гуляев прошел к себе, резко приказал, шагнув к Гвоздеву: – Плацдарм! Кондратьева! Немедленно!

– Быстренько Шестого, – зашелестел в трубку Гвоздев. – Шестого, Шестого, поняли?

Полковник грузно шагал по комнате, отлично сознавая, что за приказ

он отдаст сейчас. Однако он понимал также, что там, на плацдарме, только два орудия, замаскированные в двухстах метрах от немецкой передовой, от еловой посадки, где стояли танки, и мог догадываться, что после первых же выстрелов орудия Кондратьева откроют себя и если не будут расстреляны прямой наводкой, то будут раздавлены танками. Но так или иначе, услышав в трубке мягкий картавящий голос старшего лейтенанта, Гуляев отдал приказ немедленно открыть огонь по шоссе, чтобы как-нибудь прикрыть батальон Максимова. И Кондратьев ответил тихо:

– Слушаюсь...

Полковник чувствовал себя еще сильным в тот момент, когда отдавал приказание, но потом он весь огруз как-то, сел на лавку, шинель сползла с его плеч, упала на пол. И он не подымал ее – морщась, дергал, теребил, развязывал тесемку гвоздевого кисета. Просыпая на стол табак, он скрутил папироску из какой-то толстой бумаги, торопясь, вдохнул горький дым, – обожгло горло и легкие. Гуляев удушливо закашлялся и словно постарел сразу лицом.

– Еще вызывать? – робко спросил Гвоздев, отворачиваясь, чтобы не видеть выдавленных кашлем слез на глазах полковника.

Глава четырнадцатая

Шура везла на плащ-палатке каменно отяжелевшее тело Кравчука и, изредка оглядываясь, смотрела вверх на затянутые туманом кусты, где беглым огнем стреляли орудия.

Лежа на спине, Кравчук стонал сквозь сжатые зубы, сурово-красивое лицо его было обезображено болью, сильные руки беспомощно чертили по земле. Он был ранен первым, и она на себе снесла его от орудия под обрыв, положила на плащ-палатку.

– Ничего, любимый мой, ничего, потерпи. Еще немножечко потерпеть, – шептала она. – Вот сейчас, сейчас...

Ни Днепра, ни твердого берега не существовало – над всем нависла сырая, белая мгла осеннего утра. Плотный туман душил, лип к глазам, к потному лицу, как клей, и Шура хотелось содрать его рукой, точно паутину. Она шептала:

– Вот сейчас, родной мой, вот сейчас...

Она увидела в просвете холодный блеск воды, Днепр с угрюмым шуршанием наползал на мокрый песок, зыбко качал кусты, черные плоты в них. Они были здесь, эти плоты, на которых как будто год назад переправились сюда артиллеристы, оставшиеся от батареи, и пехотинцы капитана Верзилина. И Шура остановилась тут, обессиленно опустив руки, подняв лицо. Она слушала, сдерживая дыхание. Туман был наполнен перекатами звуков, слепыми ударами снарядов, там, наверху, на бугре, и там скакали мутно-красные вспышки, путаясь с частыми вспышками орудий. Туман раскалывался, гремел странным, перемешанным эхом над головой Шуры, и, фырча, перелетали болванки, тупо шлепались в воду.

– Ну вот, видишь, родной, все будет хорошо, – ласково зашептала Шура, наклоняясь над Кравчуком. – Вот наложу бинт, и все будет хорошо. Ты потерпи. Подождем немного и переправимся... Туда, в госпиталь...

Бинт, второпях наложенный ниже живота, буро намок, даже на вид отяжелел. Шура разорвала индивидуальный пакет, приподняла неподатливое тело Кравчука. Он застонал, напрягаясь весь.

– Я все сделаю, – отрывисто заговорила Шура, продевая бинт под широкую спину Кравчука. – Все сделаю, родненький!

Он открыл глаза, влажные от боли, стыдливо оттолкнул ее руку со своего живота, странно кривя губы, уже осмысленно и ясно спросил:

– Ты это?

– Я...

Он опять как-то сразу ослаб, повернул голову щекой к плащ-палатке, и Шура, перебинтовывая его, чувствовала, что даже сейчас он презирал, осуждал ее, а она все говорила, успокаивая его:

– Ты силу береги. Не говори ничего. Молчи, родненький... Так будет лучше...

Кравчук лежал тихо, заметно билась жилка на его сильной обнаженной шее.

– Не пришлось... Почему так, а? – едва внятно проговорил он.

– Что не пришлось, милый?

– Пожить... Не вышло...

Кравчук с мучительной нежностью потерся небритой щекой о плащ-палатку, будто хотел и не мог приласкаться к этой ставшей неудобной земле,

– Искал. Выбирал. Строгую... Ее и детей на руках бы носил... Детей люблю. Увидел тебя, подумал: «Вот она...» А ты... не та... Не постоянная. Не мать...

– Кравчук, милый мой, что ты говоришь? Все будет хорошо, – зашептала Шура те обычные ласковые слова, которые привыкла говорить раненым, и хотя по движению его бровей увидела, что он понимал ее неискренность, понимал, что ему осталось недолго жить, улыбнулась ему. – Переправим тебя в госпиталь, сделают операцию... погоди, еще на свадьбе твоей погуляем. Ты откуда? Из Чернигова? Напишешь письмо...

Но он внезапно попросил печально и просто:

– Ну, заплачь хоть, а? По мне заплачь...

Она смотрела на него с ужасом – этого никто не говорил ей никогда. Но она не могла заплакать. Она наклонилась и поцеловала его в горячую щеку слабым прикосновением губ.

– Нет, ты хороший, Кравчук...

Тогда он насильно улыбнулся, не открывая глаз, прошептал с тоской:

– Ох, как я тебя жалел бы!.. Жалел... Я ведь тебя любил...

– Эй, сестренка! Ты с раненым, сестренка? Артиллеристы? – раздался над ней задыхающийся незнакомый голос. – Где плоты?

Она подняла голову. По берегу быстро шли трое солдат-пехотинцев в плащ-палатках, возбужденно дыша. И еще человек десять солдат спускались по бугру к воде; трое, придерживая, скатывали станковый пулемет.

– Вы что, куда? – не поняла Шура, сводя брови.

– Приказ отходить, сестренка. Раненого мы возьмем. На плот.

– Отходить? Приказ, да? А артиллеристы? Как отходить?

– Не знаем. Те держатся. А нам приказ.

– Ах, вон как, – Шура встала, – вон что.

Она сама погрузила Кравчука на плот, и простились они, как близкие, понимая, что расстаются теперь навсегда; он сказал по-прежнему просто:

– Прощай...

– Прощай, Кравчук, – ответила она грустно. – Прощай, милый.

Так первым ушел с плацдарма сержант Кравчук. А она раньше думала, что у него красивая, хозяйственная жена, дети, двое детей, но нет, ничего этого не было. И уже, наверно, никогда не будет.

Потом она поднималась по земляным ступеням к орудиям, шла все быстрее и быстрее, прижимая санитарную сумку к боку, пытаясь не думать о Кравчуке, и не могла. В ее памяти он был тесно связан с Борисом, и ей вдруг ясно вспомнилось, как они стояли на холодном ветру под гудящими соснами, на том острове, в ночь переправы, и Борис, обнимая ее, говорил полусерьезно: «Не надо слез. Я тебя еще недоцеловал». Зачем он это говорил?

Грузные космы тумана, переваливаясь через гребень, сползали ей навстречу по скатам, пахло близкими ноябрьскими холодами. И Шура подумала, что Кравчук, возможно, никогда уже не увидит легкого мелькания первого снега, пахнущего свежим арбузом, белых полей, багрового морозного солнца над ними, даже такого вот неприятного сырого тумана. И от этой простоты, неповторимости обычного стало ей как-то трудно и больно глотать. Она остановилась, задохнувшись. «Кравчук ведь ничего не знал. Ничего. Я люблю Бориса, только его...»

– Шурочка!

Она вскинула глаза почти испуганно, и первое, что реально почувствовала, была тишина, хлынувшая ей в уши. Сверху спускался человек, без шапки, в распахнутой шинели. Человек этот сел на ступени, жестом смертельной усталости откинул волосы, и она увидела знакомый лоб, знакомые брови и незнакомо чужие глаза.

– Сережа?..

Она подбежала к Кондратьеву, взяла за голову, откинула, напряженно глядя в его все в пороховых потеках лицо, в глаза.

– Есть связь с Бульбанюком? – спросила она. – Да?

Он смотрел как бы сквозь нее, не видя.

– Нет, – сказал он, и взгляд его приблизился к ее зрачкам. – Шура, мы выпустили половину снарядов по Белохатке. Кажется, Максимов держится, – договорил он.

– Приказ отходить?

– Нет, мы остаемся. Пехота уходит.

Все возле орудийного дворика было страшно распахано, разворочено снарядами. Воронки почти смели бруствер, сровняли его с землей. Она чернела свежим обнаженным нутром, тускло поблескивала вонзенными в нее рваными краями осколков. Тошнотворный запах немецкого тола, не рассеиваясь, стоял в воздухе. Шура знала этот удушающий запах и сразу представила, что было здесь несколько минут назад... Наводчик Елютин осторожно протирал казенник, рассеянно взглядывал на остывающий ствол орудия, на котором зелеными колечками завилась раскаленная краска. Кроме Елютина, никого не было возле орудия на огневой позиции, заваленной закопченными гильзами.

– Меняем огневую. Все копают, – объяснил Кондратьев, утомленно сядя на снарядный ящик. – Нас заметили. Танки лупили прямой наводкой. Ну, и... живы.

Он покашлял задумчиво.

– Встань, – тихо приказала Шура.

Он встал.

– Эх ты, ученый, – сказала Шура и начала застегивать пуговицы на его шинели. – Что, жарко? В госпиталь захотел? А где фуражка? Почему в кармане?

Она откинула ему влажные волосы, надела фуражку.

Он глядел в туман отсутствующим взглядом.

– Шура, – Кондратьев застенчиво оглянулся на Елютина.

– Что?

Он взял ее за локоть, отвел в траншею.

– Я прошу тебя не обращаться со мной, как... с мальчиком, – заговорил он, торопясь и волнуясь. – Я не мальчик. Ты прости меня, что я тогда вел себя, как осел. – И он неловко поцеловал ей руку. – Пойми, Борис там, а мы тут. Солдаты все видят – какая глупость! Я прошу тебя, будь со мной официальной... Ты ведь все понимаешь, правда?

– Сере-ежа, – протяжно проговорила Шура со снисходительной нежностью. – Я все время забываю, что ты старший лейтенант...

Не ответив сразу, Кондратьев округлил глаза – она впервые увидела удивление на его лице.

– Зачем ты так говоришь? – сказал он досадливо.

Его окликнули из пехотных траншей:

– Артиллерист, давай сюда!

Там шевелились, двигались люди, долетали приглушенные команды, звон очищаемых лопат. Кондратьев извинился и пошел, невысокий,

мешковатый в своей широкой, не по росту шинели.

Она стояла, прислонясь к стене окопа, прикусив губу до боли. Он все время казался ей незащищенным двадцатичетырехлетним мальчиком, как-то неожиданно и случайно попавшим из тишины, от умных книг в эту грубую обстановку обнаженных человеческих чувств, в холод, грязь, во все то, что она испытала на себе. Он не умел носить ни формы, ни оружия, не умел отдавать распоряжения, звание «старший лейтенант» не шло к нему – к его косо затянутому солдатскому ремню, к стоптанным кирзовым сапогам, к этому поднятому не по уставу воротнику шинели... Невоенный весь. Но вид его говорил, что война не на всю жизнь, а было и придет время, когда с поднятым воротником можно будет пробежаться по сентябрьскому дождю или сквозь январский снегопад и, зябко потирая руки, поживаясь, войти в мягкое и уютное тепло, в яркий свет городской квартиры, в полузабытое далекое счастье.

На Кондратьева она обратила внимание месяца три назад, в летнюю лунную душную ночь. Через плечо перекинув ремень автомата, совсем один стоял он на чернеющей площадке огневой позиции, задумчиво глядел на недалекие немецкие ракеты, задевающие бледными дугами красную, низкую, душную луну.

«Что ж не спите? – спросила тогда она. – Вы что же, часовой?» – «Нет... то есть да. Пусть они. Все спят», – говорил он надтреснутым ото сна голосом, смешно, неловко чесал нос, и ей почему-то стало жаль его, нездешнего, городского старшего лейтенанта, одинокого среди этой лунной ночной пыльной степи.

С этого началось...

– Старший лейтенант Кондратьев! – неестественно спокойно окликнула Шура.

Он задержался возле пехотных окопов, подождал ее.

– Что ты сказал о Борисе? – спросила она и даже подтянулась на цыпочках, чтобы ближе увидеть его лицо.

Около орудия лопнул танковый снаряд, перекатилось эхо, пронзительно занули протянувшиеся в тумане осколки. И снова стало тихо. Лишь шуршали плащ-палатки, шаги в пехотных траншеях, придушенно звучали короткие команды: пехота отходила к Днепру.

Кондратьев ответил серьезно:

– С Бульбанюком ничего не известно. Дело в том, Шура, что вся дивизия уходит под Днепров, а батальоны и мы остаемся здесь до особого приказа. Мы поддерживаем батальоны.

– Поддерживаем? – изумленно вскинула брови Шура. – Мы

поддерживаем только один батальон Максимова. А Бульбанюк?..

Кондратьев покашлял в замазанную землей ладонь, опустил глаза.

– Ну? – спросила она. – Ну?

– Точно неизвестна позиция Бульбанюка, – проговорил он наконец. – Гуляев ждет связи. Неизвестно, куда стрелять.

– Эх, вы-ы! – сказала она с какой-то дрогнувшей неприязнью и презрением в душе. – Чего вы ждете? Чего ждете?

– Шура, я тебе должен сказать прямо: все наши плоты и твой санитарный я отдал пехоте по приказу Гуляева. Им не хватает плотов.

– Зачем же санитарный? – сказала Шура тихо и упрекающе, точно он вновь нуждался в ее защите. – Ну зачем?

Несколько минут спустя Шура появилась в глубоком окопе взвода управления. Никто из разведчиков и связистов не обратил на нее внимания. Младший лейтенант Сухоплюев, длинный, тонкий, как орудийный банник, лежал, вытянувшись на шинели, перед рацией, задумчиво сосал потухший окурок, прилипший к губе.

– Мне... связаться со штабом полка. – В голосе Шуры появилась требовательная интонация. – Срочно.

Сухоплюев, продолжая глядеть на рацию, сплюнул окурок, бормотнул осипшим от долгого молчания баритоном:

– В чем дело еще?

– У тебя связь, милый? – не ответив ему, но уже с небрежным дружелюбием спросила Шура телефониста, уверенно положив руку на его плечо. – Дай штаб полка. Я насчет переправы раненых.

– Ну, а сколько раненых?

Сухоплюев повернул голову, устремил взгляд на ее грудь.

– Еще не знаю, сколько будет.

Младший лейтенант подумал, напуская на лицо официальную серьезность.

– Соединяйте! – неожиданно приказал он связисту своим низко гудящим баритоном, всегда вызывавшим насмешливое удивление Шуры.

Он казался внешне суховатым и надменным, этот молчаливый младший лейтенант, но в батарее не было более исполнительно-аккуратных и надежных людей, чем он. Шура не знала, почему так заторопился Сухоплюев соединить ее, санинструктора, с высшим командным лицом в полку, не знала, о чем думал он. А младший лейтенант Сухоплюев в это время думал о том, что очень скоро может совершиться многое, что тайно желал, чем тайно жил он последние часы на плацдарме. Из офицеров батареи теперь оставались только двое: он и старший лейтенант

Кондратьев. Если Кондратьева ранят, то его немедленно отправят в тыл, и место комбата займет он, Сухоплюев; и это – долгожданная самостоятельность, долгожданная свобода действий, первая ступенька к ожидаемому всю войну, неповторимому и счастливому подвигу, к честной известности, в чем не было до сих пор у него особого случая и чего он страстно хотел. А при свободе действий он, младший лейтенант, мог взять на себя все, что не мог сделать мягкий старший лейтенант Кондратьев, и в этом он был твердо убежден.

– Штаб полка, штаб полка... – бормотал связист, все косясь в сторону пехотных траншей, где по-прежнему не утихало движение.

– Вы, кажется, под трибунал захотели? – бесстрастным голосом остановил его Сухоплюев. – Забылись? Где же позывные?

– Четвертого, Четвертого, – поправился связист и сейчас же передал Шуру трубку. – Полковник...

– Товарищ Четвертый, – спокойно начала Шура и замолчала.

Глухой голос недовольно заговорил в трубке:

– Кто? Говорите точнее! Ну?

– Я санинструктор от Шестого, – повторила Шура уже окрепшим, решительным тоном. – Вы приказали весь транспорт отдать... соседям. Мне нужен один транспорт для раненых. Прикажите оставить один транспорт, товарищ Четвертый...

– Ну зачем вы делаете это? – прозвучали отдельные слова за спиной Шуры, и от этих слов будто холодной враждебностью повеяло на нее.

Она повернулась как бы от неприятного физического прикосновения к спине и в двух шагах увидела старшего лейтенанта Кондратьева, рядом с ним вытянулась, застыв, фигура старшины Цыгичко.

– Что вы делаете? – почти шепотом сказал Кондратьев, шагнул к ней, и следом, как заведенный, шагнул старшина. – Зачем вы?..

– Прошу вас, не мешайте мне, – тихо ответила Шура и медлительно сдунула волос со щеки, встретив глазами грустный взгляд Кондратьева, устремленный на нее.

– Это бестолковый разговор, голубушка. Как вас понять прикажете? Это я вам мешаю? – удивился голос полковника. – Ну, уважаемая, время не для кокетливых шуток!

– Я не намереваюсь шутить, товарищ Четвертый! – отчего-то наслаждаясь замешательством Кондратьева, выговорила Шура, словно падая с высоты. – Я имею право требовать, что положено для раненых. Прикажите оставить один транспорт, товарищ Четвертый!..

Она замолчала и снова нервно сдунула волос. Ей нечего было терять.

– К телефону Шестого, – сухо вато потребовал Гуляев.

И, уже более не наслаждаясь растерянным лицом Кондратьева, Шура возбужденно поднялась, протянула ему трубку.

– Вас, товарищ старший лейтенант.

Он стал к Шуре боком и начал быстро говорить, преодолевая смущение, – одни глаза оставались грустными, – и она, наблюдая за ним, уже не узнавала в нем того беспомощного человека, которого выдумала себе.

Он говорил:

– Есть. Слушаюсь... Слушаюсь. Никак нет. Немного. Кравчук. Отправлен с соседями. Так точно. Осталось двадцать пять огурцов. Туман большой. Никаких сигналов. Слушаюсь... Будем ждать. Будем ждать...

– Значит, ждать? – проговорил Сухоплюев.

Кондратьев, подтверждая, молча и серьезно кивнул, отдал трубку связисту. Шура стояла выпрямившись. Спросила:

– Значит... Значит, раненые будут переправляться вплавь?

– Пойдемте! – И не голосом, а выражением глаз он попросил Шуру пойти по траншее впереди себя, и она подчинилась.

– А я, товарищ старший лейтенант? – забормотал Цыгичко, забегая вперед в ходе сообщения и напряженно вытягиваясь перед Кондратьевым. – Мне куда же?

– К орудию, – ответил Кондратьев.

– А они... Как же? Не знают, что меня вернули, – улыбнулся старшина виновато и робко.

– Я скажу. – Кондратьев полуласково подтолкнул Цыгичко в плечо. – Я все скажу.

Теперь они были одни.

Из-за поворота траншеи доносился сдавленный голос Сухоплюева, с расстановками вызывающего Волгу, затихали приглушенные туманом шаги Цыгичко. Было одиноко, сыро и жутко стоять вблизи опустевших траншей пехоты, будто вся земля вымерла, была задушена туманом.

– Шура, – заговорил Кондратьев, трогая запотевшую золотую пуговицу на ее шинели. – Неужели вы не поняли? Мы остаемся здесь. Понимаете? Мы уйдем отсюда, когда Бульбанюк и Максимов будут на левом берегу. Когда это будет – не знаю... А просить плот, – он усмехнулся, – просить плот, когда мы остаемся тут, просто неловко.

– Мы остаемся здесь навечно?

– Я не хотел бы, чтобы это случилось, – ответил он. – Все цепляется одно за другое.

Он отпустил ее пуговицу, и в тишине долетел до них из белесой мглы безнадежно бьющий в одну точку голос: «Волга... Волга...Волга...» – и Шура, с ужасом подумав, что свершилось что-то непоправимое с Волгой, Борисом, с ней самой, с Кондратьевым, прислонилась к стене траншеи и, как бы защищаясь от чего-то, страстно выговорила:

– Не верю, не верю. Ни во что плохое не верю! Все будет хорошо! Все будет хо-о... – И, прижав подбородок к груди, заплакала без слез, не договорив от отчаяния, как будто была виновата в чьей-то гибели.

– Шурочка, милая... Зачем вы? – растерянно зашептал Кондратьев. – Прошу вас, Шурочка, милая...

– Нервы, – ответила она, подымая лицо с сухо блестящими глазами. – Я не знала, что у меня нервы.

Все случилось в сумерки.

А целый день холодный, сырой воздух очищался от тумана: то, расправляя синие дымы в низинах, выглядывало солнце из пепельно-серой мглы, и тогда веселели мокрые кусты на берегу; то все небо, до горизонта, затягивало черно-сизой гарью низко клубящихся туч; приносили они влажный запах ноябрьского дождя – все мрачнело и тускло и плоско отражалось небо в неуютном осеннем Днепре.

Весь день над плацдармом не было немецких самолетов, даже в те часы, когда прояснялись небесные дали. Но в полдень они внезапно появились в стороне – их насчитали двадцать четыре. Они прошли мимо плацдарма, развернулись далеко над лесами и полчаса крутились и ныряли там, бомбили – вздрагивала земля.

Люди глядели туда, стоя в кустах около орудия, – никто не думал в этот момент о гибели других: даже улыбаясь, думали о батальоне Бульбанюка, который еще жив, – мертвых не бомбят.

Тогда же Кондратьев позвонил полковнику Гуляеву, сообщил ему об этой первой весточке о батальоне.

– Надо открывать огонь по старым данным, товарищ Четвертый! – сказал Кондратьев с волнением и радостью.

– А вы точно знаете новую позицию батальона? По своим лупанете? Связь мне с батальоном! Вот что – связь! Связь! – И, засопев в трубку, полковник прервал разговор.

А мимо летели, наслаиваясь, облака над лесами, над притихшей немецкой передовой, над еловой посадкой, где затаились чужие танки. Тяжелый, едкий туман утра съел нежную желтизну осени, и все посерело, намокло, утратило краски. Ветер гнул и мотал под обрывом уже совсем голый кустарник, вызывающий тоску, вздымал над берегом последние

черные листья, нес их и бросал на пустынную, студено-фиолетовую воду Днепра. Там, в стороне посеревшего острова, не видно было ни одной лодчонки. И неприятно молчала немецкая артиллерия.

Потом далеко справа, откуда глухо доносилась канонада, едва видимыми комариками прошла группа штурмовиков, за ней волной пронеслась другая, третья, все небо замельтешило там, долетел слабый гул, и тогда все разом поглядели друг на друга, потом – на Кондратьева.

Деревянко зло сказал:

– Не туда, не туда, дьяволы!

– Это на Днепров, – тихо ответил Кондратьев.

Только наводчик Елютин, спокойный, лежал на снарядных ящиках, по обыкновению, копался в механизме ручных часов, разложенных на несвежем носовом платке.

– Наладился! – угрюмо бормотал Бобков и косил широкие брови. – Нужны твои часы, как собаке калоши. Брось, говорят, не то как махну по твоей механизме. Искры полетят!

– Ну, а какой толк? – миролюбиво отвечая Елютин. – Может, тебе часы не надо, а я обещал Лузанчикову.

Бобков беспричинно раздражился:

– А на кой они мне? Я и так в подрез время узнаю, понял? По воздуху, понял? По нюху. Ноздрей!

– Ну, сколько сейчас времени? – Елютин улыбался, и, как отсвет этой улыбки, мелькало сочувствие в широко раскрытых глазах Лузанчикова.

– Дурак! – мрачно и самолюбиво отрезал Бобков. – И сроду, видно, так! Полтретьего. Проверь! Поработал бы четыре года в поле на тракторе – часы б через забор забросил, как воспоминание. – И обратился к Кондратьеву неуспокоенно: – Загораем, товарищ старший лейтенант? Там бомбят, здесь бомбы не рвутся! Курорт!

И огромный, широкий, шевеля сильными плечами под шуршащей на ветру плащ-палаткой, враждебно глядел в сторону скрытых лесами Ново-Михайловки и Белохатки, где отбомбили самолеты и непрерывно постукивала молотилка боя.

Разговоры были ненужны, бессмысленны, но тяжелее всего молчание на плацдарме, тесно сжатом низким небом, плоскомертвенным Днепром, бесприютно пасмурной землей и перекатами канонады слева и справа.

Стал накрапывать дождь, потом посыпался мелкой, нудной пылью, затянув сизым туманцем немецкие окопы, посадку, дорогу за ней, темные леса, остров на Днестре. Орудия и открытые в ящиках снаряды влажно заблестели; потемнели капюшоны солдат, сидевших на станинах

нахохленными воронами.

«Надо открывать огонь, – думал Кондратьев, слушая сонный лепет дождя по капюшону. – Чего я жду? Позывных батальона? А будут ли они? Полковник, и солдаты, и я понимаем, что ждать глупо! Что же, я открою без команды огонь и отвечу... Но если все изменилось там, я ударю по своим? Меня расстреляют за это. Но они просили на рассвете огня. Где же приказ, наконец?..»

Он огляделся. Солдаты цепко уловили его движение, и тотчас он услышал над ухом вежливо воркующий голос Цыгичко:

– Пока... Поскольку без делов солдаты, товарищ старший лейтенант, разрешили бы им в землянках погреться. Тепло, ведь оно бодрость духа и моральное состояние придает. Основываясь, значит, на опыте прошлых боев с немецкими оккупантами.

– Да? – спросил Кондратьев. – Вон даже как? Очень хорошо!

Старшина напряженно улыбнулся, прикрыв рот ладонью.

– Следовательно, забота о живых людях, – едко сказал Деревянко. – Моральное состояние приподымает! Большой мастер приподымать!

– Старшина, ты никак свою палатку потерял? – в упор спросил Бобков.

– Да разве я ж о себе, хлопцы? – забормотал Цыгичко. – Я же не о себе.

«Что я стою? Почему я не подаю команду? – думал Кондратьев. – Есть ли оправдание тому, что люди гибнут там, а я стою вот здесь, как последний подлец, и думаю о чистоте своей совести?»

– Старший лейтенант, к телефону!

Он пришел в себя, – шуршал в кустах дождь, из окопа Сухоплюева тревожно высывалась голова связиста, и вдруг с горячо поднявшейся в душе злостью к себе он скомандовал срывающимся голосом:

– К бою! Зарядить и ждать!

Все вскочили, и он, добежав до сухоплюевского окопа, покрытого сверху плащ-палаткой, спросил громко:

– Кто? Гуляев?

Кондратьев взял трубку, облизнул шершавые, обветренные губы, сказал:

– Товарищ Четвертый...

– Что?

– Я не могу ждать. На что мы надеемся?

Полковник Гуляев шумно дышал в трубку.

– На чудо. И терпение.

– Чуда не будет. Я открываю огонь!

Было молчание – долгое, мучительно неясное.

– Открывай, – неожиданно тихо сказал полковник. – Открывай, сынок... Открывай. По Ново-Михайловке. Да людей береги. Слышишь, голубчик? Людей. Вы ведь у меня... последние артиллеристы.

А Шура стояла в стороне, прислонясь к стене окопа, молча кутаясь в плащ-палатку, как будто знобило ее.

Глава пятнадцатая

Глубокой ночью, ясно вывездившей в черном чистом небе, небольшой плот осторожно отчалил от правого берега, мягко захлюпал по черной воде, качаясь и наплывая на синие зигзаги горевших в воде созвездий.

В эту ночь не зажигали Днепр немецкие прожектора, не стреляли вдоль берега крупнокалиберные пулеметы, танки не били прямой наводкой по острову на шум машин, на случайно мелькнувший огонек.

Ночь, темная, с холодным воздухом, кристальной тишиной поздней осени, легла на спокойные высоты, на уснувшую, измученную землю. Изредка слева, как бы сонно и нехотя, вспыхивали немецкие ракеты, бесшумно сыпались красные светляки пуль.

Бежала и нежно лепетала вокруг бревен вода, скрипели уключины, дремотно поскрипывали, терлись бревна.

«Кажется, весь день был ветер, а теперь какая странная тишина, – лежа спиной на соломе, думал Кондратьев, испытывая смешанное чувство неведения и беспокойства. – И куда мы плывем под этим звездным небом? В тишину... Но, кажется, кто-то убит? Что случилось с Сухоплюевым? Он лежал между станин лицом вниз, без фуражки... Рядом с Елютиным. А орудия где?»

Он напряг память, хотел вспомнить, что произошло несколько часов назад, но ничего не мог вспомнить. Мешала плотная тяжесть в голове, ломило в надбровье, и путала мысли втягивающая студеная высота мерцающего неба. Скрипуче пели уключины, душно пахла солома, влажная плащ-палатка неприятно подпирала подбородок. Он сделал движение, но перебинтованная голова была словно привязана к бревнам.

– Шура? – слабо произнес он и позвал: – Шура...

Звезды исчезли, их заслонил кто-то, повеяло свежестью в лицо.

– Шура? – спросил он неуверенно.

– Я, Сережа, – прошелестел осторожный шепот из темноты. – Что, болит? А ты не поворачивайся, не надо...

– Шура, меня ранило? Ничего не помню... Где Сухоплюев?

– Нет его.

– А Елютин?

– Нет.

– Где они?

Она промолчала.

– Сними плащ-палатку, – прошептал он, потом попросил: – Говори все. Она сняла плащ-палатку. Он здоровой рукой слабо тронул ее колюче-холодный рукав шинели, повторил:

– Говори все.

Тогда она ответила полуласково, полувопросительно:

– Хочешь, сказку расскажу? Я много сказок знаю. Ты в детстве любил сказки?

Он нащупал, несильно сжал ее не отвечающие на его пожатие пальцы.

– Мы стреляли, а потом... потом...

Шура молчала.

– А потом по орудиям стреляли танки, – проговорила она тихим голосом. – А потом у нас кончились снаряды.

– Шура, ты сказала не все, – сказал Кондратьев, глядя на темное, переливающееся холодными звездами небо, на туманно искрящийся Млечный Путь.

Было ему как-то непростительно, горько жаль, мнилось, что кого-то он тяжело, грубо оскорбил, кто вскоре погиб в двух шагах от него. Шура, казалось, знала, видела это и поэтому не говорила все. И память не вдруг, смутно стала выхватывать отрывочные картины того, что было несколько часов назад.

Он помнил раскаленный до синевы ствол орудия, лихорадочно снующую между станин широкую спину Бобкова, его руки, бросающие снаряды в дымящееся отверстие казенника, его бешено-радостные глаза, его крик; «А сволочи! Получай, не жалко!» И рядом – сосредоточенное, спокойное лицо Илютина, повернутое от прицела: «Угломер, угломер? Угломер!» Неужели эти два его орудия заменяли всю артиллерию дивизии? Восемь ящиков опустело. Ехидный Деревянко сообщил: «Восемь сдуло!» И через минуту этот милый Лузанчиков восторженно-возбужденно повторил: «Десять сдуло, товарищ старший лейтенант!» А где был Цыгичко? Кажется, вместе с Шурой он носил ящики из ниши, раз упал, задев за станину, и засмеялся глупо и жалко. Сыпал дождь, огневая позиция размякла, как каша... Что было еще?

Потом из еловой посадки ударили по орудиям танки. Были звенящие разрывы в кустах, на бруствере. Срезанными ветками хлестнуло по лицу, будто кнутом. Он приказал открыть огонь по танкам. Мелькали прижмуренные, точно ослепленные глаза Елютина и судорожно вцепившиеся в снаряд огромные пальцы Бобкова. Остальных Кондратьев больше не видел. Началась дуэль между орудиями и танками. Потом сознание прорезал крик, нет, не крик – радостный рев Бобкова: «Горят,

горят!»

Потом разрыв, звон в голове, желтый опадающий дым, и из этого дыма поднялся, встал без шапки, с окровавленной скулой Елютин. Пошатываясь, стоял, искательно щупал левый рукав, пытаюсь отогнуть его, словно на часы хотел посмотреть, сделал шаг за щит орудия и упал животом на бруствер.

Все исчезло после... Была черная, мягко качающаяся пустота. И он плыл к ней, как сейчас под этими звездами. Он очнулся тогда от свинцовых капель дождя, от голоса, хрипло кричавшего непонятное и страшное: «Мы все погибли здесь, выполняя приказ. Пришлите плот. За Кондратьева остался я, младший лейтенант Сухоплюев. У нас нет снарядов. Мы все погибли здесь, выполняя приказ...»

«Он убит, но почему он говорит еще? – соображал Кондратьев. – Разве он убит?» Сухоплюев лежал в бурой жиже, обняв одной рукой телефонный аппарат, виском вмяв в грязь черную эбонитовую трубку. Как оказался телефонный аппарат возле орудия, при каких обстоятельствах погиб Сухоплюев, он не вспомнил, голова, скованная болью, была чугуновой, налитой огнем. Потом Цыгичко, Бобков и Шура подняли его и понесли куда-то вниз, уже там, внизу, услышал одинокий выстрел, и снова качающаяся черная мгла понесла его на мягких волнах забытья.

– Тебе не больно, Сережа?

– Нет. – Он долго глядел на высокие звезды, мимо которых плыл темный силуэт Шуриной пилотки, а в ушах все возникал хрипло-незнакомый голос Сухоплюева. «Мы все погибли здесь, выполняя приказ...»

– Сухоплюева там похоронили?

– Да.

– И Елютина?

– Да.

– А орудия как?

– Орудия были разбиты. Мы столкнули их с берега в Днепр. Ты приказал.

– Я?

– Да. А прицелы здесь. С нами. Ты приказал взять.

– А люди... остальные?

– Здесь они.

А вокруг бревен струилась, ворковала, плескалась вода, с упорной однообразностью повизгивали уключины, и не было слышно ни одного голоса на плоту.

– Я не слышу их, – сказал Кондратьев и окликнул: – Лузанчиков?

Ответа не последовало. Слева помигала ракета и сникла, растворилась в ночи.

– Он спит. Легкое ранение в ногу, – ответила Шура. – Мальчик... До свадьбы заживет.

– Деревянко.

Возле ног Кондратьева послышался стонущий вздох, кто-то завозился, сухо зашуршала солома, и затем шепот:

– Здесь я, товарищ старший лейтенант.

– Цел, милый мой, а?

– Самую малость, товарищ старший лейтенант. Едва задницу вдребезги не разнесло. Если б рукой не придержал, брызги б только полетели. Ну, тогда ищи ветра в поле!

И вдруг до Кондратьева донесся смех: один – перхающий, залиvistый, другой – густой, несдержанный. Было ему удивительно и противоестественно думать, что это обыкновенный человеческий смех, признак будничной жизни, живого дыхания. Кондратьев чуть-чуть поднял голову. Среди мягкой черноты ночи едва заметные фигуры двигались у весел. И по смеху Кондратьев узнал их – это были Бобков и старшина Цыгичко. И он невольно спросил свое, навязчивое, но уже расслабленным от радости голосом:

– Живы?

Цыгичко деликатно промолчал, а Бобков, будто и не случилось ничего, ответил за двоих весело:

– Как полагается, товарищ старший лейтенант. Руки-ноги целы. И все места в здравии!

И снова захохотал приглушенно, и Цыгичко прыснул тоненько, по-бабьи.

– Не до смеху! – удивился Деревянко. – Какой смех!

«Так вот она, война, вот она, жизнь, – думал Кондратьев с облегчением и любовью к этим людям, родственно и крепко связанным с ним судьбою и кровью. – Вот оно, простое и великое, что есть на войне. Вот она, жизнь! Остались прекрасное звездное небо, осенний, студёный воздух, дыхание Шуры, соленые остроты Деревянко, смех Бобкова и Цыгичко. И это движение под Млечным, туманно шевелящимся Путем... И я... я сам не знаю, буду ли жить, буду ли, но люблю все, что осталось, люблю... Ведь человек рождается для любви, а не для ненависти!»

Звезды дрожали у него на ресницах, холодком касались их, переливались синими длинными лучами, убаюкивал мирный скрип бревен,

и, как сквозь воду, слышал Кондратьев отдаляющийся зыбкий шепот Шуры, чьи-то легкие стоны, и уснул он, будто провалился в горячую тьму, но даже во сне не покидала, тревожила его расплывчатая мысль о чем-то несделанном, недодуманном: «Разве они не заслужили любви?»

Проснулся от резкой свежести, потянувшей по ногам, от возбужденных голосов, от топота сапог по бревнам, от долетевшей команды:

– Кондратьева на берег!

Плот стоял. Над головой, в сизом мутном сумраке рассвета, шелестя на ветру, заслонили похолодевшее небо темные деревья.

– Вы, товарищ старший лейтенант, за шею здоровой рукой меня обнимайте, – взволнованно сопя, наклоня озабоченное, землистого цвета лицо, сказал старшина Цыгичко. И, пахнувший порохом и ветром, стал на колени возле Кондратьева.

– Донесешь? Уронишь, не котелок с кашей нести! – недоверчиво прогудел Бобков, хмурясь и глядя через плечо старшины самоуверенными глазами. – Дай-ка я... Бревна скользкие. Разъедутся ноги – и ляпнешься жабой! Уйди-ка!

– Вы только... помогите мне, – слабо улыбнулся Кондратьев. – Я дойду... ноги у меня здоровы...

– Нельзя ж! – прошипел Цыгичко. – Поскольку, значит, мы с вами... Як же можно? Я легонько вас. Как пушинку доставлю.

– Что вы там? Быстрее! – раздался окрик Шуры.

Кондратьев оперся о жилистое плечо Цыгичко и, крепко поддерживаемый Бобковым, непрочно поднялся на ноги, побледнел от боли в закружившейся голове, от тошнотворно прилившей к вискам крови.

В тумане на бугре стояли санитарные крытые повозки. И одна темнела внизу, заляпанная грязью; мокрая от росы, дымилась спина лошади, дремлющей в сумраке шумящих деревьев. И толпились вокруг незнакомые пехотинцы, бритые, в новеньких плащ-палатках, в чистых обмотках и в касках, словно в боях не были.

Кто-то спросил свежим голосом:

– Откуда?

– С того света, – ответил Деревянко, – знаешь такой район чи нет? – И, усмехаясь, осторожным движением локтей все поддегивал галифе, не держащиеся на бинтах, оглядывался на строго озабоченную Шуру, которая торопила его садиться в повозку, объяснял: – Да на что же я сяду, солдат милосердия? Выходит, садись, на чем стоишь.

А из крайнего санитарного фургона белело за несколько часов

неузнаваемо похудевшее, выделяясь огромными неподвижными глазами, лицо Лузанчикова, до сих пор не верившего в гибель Елютина. Он сидел и иногда, как сквозь пелену, смотрел на немецкие часики, зажатые в потной ладони, перед самым боем починенные и подаренные Елютиным; они словно жили и бились в ладони, все отсчитывая секунды, как будто сообщена была им вечная жизнь.

Глухой от стука крови в голове, от боли, Кондратьев сошел на твердый берег, и оттого, что не мог двигаться сам, было неловко ему, и неловко было оттого, что голова и руки его перебинтованы, оттого, что незнакомые пехотинцы глядели на него с выражением молчаливого и сочувственного понимания.

Бобков тотчас пошел к санитарным повозкам и стал там командно рявкать на ездовых:

– Ближе, ближе. Что отъехали? Стреляют, что ли?

– Крепко старшего лейтенанта садануло! – проговорил кто-то.

Кондратьев никогда не отличался военной выправкой, не признавал тщательно, по-строевому начищенных сапог, по-бравому развернутых плеч, строго застегнутых пуговиц – это обидно сковывало свободу движений его, сугубо гражданского человека, привыкшего к широким пиджакам и никогда не любившего галстуков, сжимающих шею.

Но вдруг пальцы его, слабо двигаясь, стали застегивать холодные, влажные от росы пуговицы; и в то же время Цыгичко начал поспешно помогать ему проворными движениями, старательно раздувая ноздри, и успокоительно-бодро шептал:

– Ничего, шинелька эта теплая, на вате, согреетесь, товарищ старший лейтенант. А вернетесь из госпиталя, мы ее по вас сделаем. Укоротим. И – как влиту. Як же иначе?

Тогда Кондратьев ясно вспомнил, что шинель эта не его, а Цыгичко, и со стыдом подумал: как это он забыл отдать ее раньше?

– Цыгичко, – сказал он. – Пожалуйста, снимите с меня шинель. И... поменяемся...

– Не понял, товарищ старший лейтенант! – удивился и испугался даже Цыгичко. – Никак нет. Не могу. Капитан Ермаков приказал. Привык я. Очень хорошая вещь шинель.

– Я приказываю, – повторил Кондратьев.

Старшина Цыгичко сердито и покорно, стараясь не задеть раненую руку Кондратьева, снял с него шинель. Потом, не решаясь надеть, положил ее на песок. И, жилистый, слегка кривоногий, неуверенно и стесненно затоптался в одной гимнастерке на свежем ветру рассвета.

– Ну, возьмите же шинель, – еле слышно приказал Кондратьев, чувствуя, что глохнет от боли в голове.

Две санитарные повозки уже спускались по бугру.

В это время позади них, бесшумно вылетев из серомглистой чащи леса, резко остановился такой знакомый, маленький, открытый «виллис». Тотчас же пехотинцы зашептались, задвигались, стали козырять, а старшина Цыгичко замер, сдвинув свои кавалерийские ноги.

Прямо к Кондратьеву грузно и быстро шел невысокий полковник в старом, потертом плаще, с крупным, грубоватым лицом, воспаленным бессонницей.

– Кондратьева мне! Где Кондратьев? – почти крикнул он, и Кондратьев только по губам полковника догадался, что спрашивали его.

– Я...

– Жив, сынок?.. – осекшимся голосом проговорил полковник и, словно не узнавая этого хрупкого, бледного, с перебинтованной головой и кистью офицера, долго и молча глядел в лицо ему пристально ищущими, спрашивающими глазами. – Жив?

И Кондратьев внезапно почувствовал мучительно-сладкую судорогу в горле оттого, что на этом свете его жизнь так нужна и необходима была кому-то.

– В медсанбат... Всех... немедленно... – отрывисто сказал полковник.

– Товарищ полковник, – шепотом произнес Кондратьев. – Прицелы с нами.

– Что мне прицелы, сынок! – перебил полковник с горечью. – Что мне прицелы, дорогой ты мой парень... Орудия будут, а вот люди...

С мягким хрустом колес подъехали санитарные повозки, следом за ними подкатил грязный и юркий, как маленькое лесное животное, «виллис». Подошли озабоченная Шура, недовольный чем-то Бобков, и медсанбатские неторопливые санитары мгновенно забежали и закричали на лошадей при виде грузного, гневно нахмурившегося пехотного полковника.

– Что за светлая голова придумала прислать за тяжелоранеными колымаги? – спросил он таким голосом, что у санитаров ходуном заходили ноги. – Кто старший из медсанбата? Вы? Головотяпы! Всех раненых грузить в «виллис». Мигом!

Через несколько минут все было готово. Лишь один Деревянко, который мог только лежать, был устроен в санитарной повозке. Полковник Гуляев сел рядом с шофером, хмуро взглянул на мутную полосу зари, проступавшую над Днепром.

– Ну, выздоравливай, Сережа, – сказала Шура и поцеловала

холодными губами Кондратьева в подбородок.

– Прощай, Шурочка, – сказал Кондратьев. – Я тебя никогда не забуду.

– Счастливо, товарищ старший лейтенант, – угрюмо прошептал Бобков, отворачивая задергавшееся лицо.

Когда же повозки и «виллис» тронулись, старшина Цыгичко, все время стоявший в стороне, порывисто схватил шинель, сумасшедше бросился за машиной, загребая по песку кривыми ногами,

– Товарищ старший лейтенант! Товарищ старший лейтенант! Шинелька!..

Но «виллис» набирал скорость, стремительно подымался в гору, и там не слышали, очевидно, его. Лишь ездové на повозках оглянулись с недоумением.

Глава шестнадцатая

Часовой не сразу узнал его, а когда узнал, то открыл рот и не отрываясь глядел, как он, худой, весь в грязи, в изодранной шинели, обвешанный двумя полевыми сумками, шел по двору к хате.

Он так рванул дверь – в сенях задребезжало пустое ведро. Он всю силу вложил в эту дверь и не затворил ее.

В первой половине, полутемной и жаркой, сидел только один человек. Ветер шевельнул волосы на его голове, и он, вскинув глаза на вошедшего, отодвинулся от него вместе с табуреткой, рывком сдернул наушники. Это был радист.

– Товарищ капитан?.. – потерянно забормотал он. – Вы... здесь? Вы здесь?

Не слушая его, Борис распахнул дверь в другую комнату. Осенние тусклые полосы света косо лежали на глиняном полу этой низкой комнаты, на пустых лавках под окнами. Не было здесь ни связистов, ни связных штаба.

Полковник Гуляев в плаще, прижав сжатые кулаки к сморщенному лбу, сидя спал за столом. Седина светилась в его волосах. Возле, на табуретке, стоял солдатский котелок с остатками застывшего оранжевого борща, подернутого жирными блестками. Лежал нетронутый ломоть хлеба.

Борис, зло морщась, ударом руки сшиб котелок на пол, он загремел, покатился в угол. Сел на табурет, губы его перекашивало.

– Кто здесь? – спросил полковник, кулаками потирая лоб.

– Я здесь.

Полковник отнял руки ото лба, брови его, веки и морщины у переносья вдруг мелко затряслись, и в отяжелевших от сна глазах вспыхнуло выражение беспомощного неверия.

– Борис?! – шепотом выдавил полковник. – Батальон... Где... батальон?..

Он, медленно приподнимаясь, шумно дыша, глядел на потемневший от крови Борисов погон, на расстегнутую кобуру пистолета, на знакомый поцарапанный планшет, на чужую полевую сумку.

– Батальон – там, – ответил Борис почти беззвучным голосом. – Посмотрите в окно. Там все.

Полковник Гуляев подошел к окну, низенькому, мутному, наклонился грузно и жалко, точно заглядывал в колыбель больного ребенка, и

нерешительно выпрямился, не отрывая взгляда от окна.

Четверо солдат в черных от земли, захлюстанных шинелях, грубо, буйно заросшие щетиной, положив автоматы на колени, расположились под плетнем на дворе, жадно затягиваясь, курили; возле, держа кистет, присел на корточки часовой.

– Бульбанюк... и офицеры... – начал полковник и замолчал: голос осекся.

Борис снизу неприязненно глядел на сгорбленную спину Гуляева, заговорил устало, жестко:

– Я прошу, вопросы мне не задавайте. Я не отвечу на них. Пока вы не ответите. Где же наступление дивизии? Где поддержка огнем? Где?

– Что я могу тебе ответить? – вполголоса выговорил полковник. – Приказ был отменен...

Встав, Борис смотрел на него в упор неверящими глазами, жутко и лихорадочно горевшими на темном исхудалом его лице.

– Отменен? – повторил он. – Как отменен?..

Черная тоска была в этой низенькой комнате, забитой лиловым сумраком; и знакомая, острая, ноющая боль подступила, сжала грудь и горло Бориса, как тогда в лесу, когда он готов был на все. Голос полковника звучал как через ватную стену, и он смутно слышал его: вся дивизия переброшена севернее Днепра, лишь орудия Кондратьева поддерживали батальоны: не было связи, посланные к Бульбанюку разведчики, очевидно, напоролись на немцев; ни один не вернулся, они шли с приказом держаться до последнего, чего бы это ни стоило; от батальона Максимова осталось тридцать человек, два офицера. Максимов погиб...

Борис стоял враждебный, незнакомо-чужой, губы стиснуты, глаза пристально, непримиримо прищурены, и только рука, словно успокаивая что-то, гладила под шинелью левую сторону груди. Боль у сердца, что появилась тогда в лесу, когда он понял, что судьба наказала его памятью и ответственностью, не утихала, обливала холодной тоской. Он спросил через силу:

– Значит, Иверзев... знал положение в батальоне?..

Полковник засопел, хмурясь, тихо ответил:

– Так сложилась обстановка...

Борис проговорил хрипло:

– Я командовал батальоном в момент его гибели, и я хотел бы видеть полковника Иверзева. Где сейчас... дивизия?

– Дивизия на плацдарме под Днепром, штаб в Новополе. Но без меня ты не сделаешь ни шагу. Теперь и мне нечего делать тут. Нечего... – И

спросил некстати: – Водки хочешь?

– Нет. Вот возьмите сумку и документы Бульбанюка. И ордена Жорки. Документы Ерошина я сам передам в арtpолк...

Были поздние сумерки, когда они въехали в Новополе – небольшое село, расположенное на берегу Днепра в сосновом бору. Несло запахом дождя от низких ноябрьских туч, клубившихся над бором, от шумящих в этих тучах вершин сосен, от песчаной дороги среди глухо-темных хат, от свинцового блеска в стеклах, отражавших несущееся над селом фиолетовое небо. Безлюдно было на улицах, мрачно и сиротливо. Только озябшие часовые на перекрестках несколько раз требовательно останавливали «виллис». Полковник Гуляев молчал, молчал и Борис, закрыв глаза, усилием воли пытаюсь обрести душевное равновесие, которое так необходимо было ему в предстоящем разговоре с полковником Иверзевым. Но этого равновесия не было, и он сидел, стиснув зубы, чтобы не застонать. После вчерашней ночи, когда он шел один в лесу, все словно сместилось в его душе, и он ничего не мог забыть.

– Здесь останови, – раздался голос полковника Гуляева, и потом: – Часовой! Штаб дивизии?

Борис открыл глаза, увидел серую пустынную улицу; «виллис», нырнув в придорожной канаве, вплотную притерся к палисаднику, за которым протяжно пели на ветру сосны. За ними отблескивали черные стекла высокой хаты с крыльцом.

Часовой шел по песчаной дорожке к «виллису». Полковник Гуляев грузно вылез из машины, в раздумье поглядел на окна, спросил глуховато:

– Спят, что ли, в такую рань?

– Недавно с передовой вернулись. Должно, не спят, товарищ полковник, – ломким баском ответил часовой, сдерживая судорогу зевоты. – Вроде даже жена к командиру дивизии приехала. Да вон адъютант, на сеновале спал, кажись. Все выясните, товарищ полковник. Товарищ лейтенант, к вам! – крикнул часовой, отходя от машины.

Через двор от клуни шел, покачиваясь от сна, адъютант Иверзева, – шинель накинута, красивое юное лицо помято, каштановые волосы упали на висок. Видимо, спросонок не поняв, в чем дело, он пробормотал, зябко передернув плечами:

– Пакет, да? Давайте, давайте.

Гуляев досадливо пожевал губами.

– Лейтенант Катков, доложите полковнику: командир полка Гуляев и капитан Ермаков.

– А? – произнес адъютант удивленно. – Это вы? Что? Полковника? – И, уже осмысленно глядя на Бориса заспанными глазами, заговорил, торопясь: – Полковник только с передовой. К нему приехала жена. Приказал тревожить только в случае пакета. Но я сейчас, минуточку...

Адъютант растерянно взбежал на крыльцо.

Борис, чувствуя колющую боль в сердце, сел на ступеньку и, ожидая, стараясь успокоить себя, молчал. Полковник Гуляев вполголоса сказал:

– Что ж, ты доложить обязан. Но без горячки. Спокойно. Только спокойно.

– Не беспокойтесь. Я вас не подведу, товарищ полковник, – ответил Борис.

Тягуче гудели сосны в палисаднике, со скрипом и стуком задевая ветвями крышу, над нею и двориком низко несло мутное небо.

Потом в доме возникло движение, вспыхнул свет в одном окне, затем в другом; за стеклом скользнула тень адъютанта, и вскоре послышался приближающийся к двери полновзвучный, свежий голос Иверзева: «Почему не узнали?» Дверь открылась, и на крыльцо шагнул полковник Иверзев, высокий, возбужденный, в длинном стального цвета плаще, светлые волосы его занесло ветром набок.

– Капитан... капитан Ермаков? – воскликнул он изумленно и громко. – И полковник здесь? Привели батальон?..

Непоколебимым здоровьем веяло от полного, властного, румяного лица его, от сочного голоса, от прочной, большой фигуры, от движений уверенного в себе человека; и синие глаза его, которые, очевидно, так нравились женщинам, блестели сейчас настороженно-вопросительно и ожидающе. «Да, это тот Иверзев, – подумал Борис. – Тот, который отдавал приказ».

– Я привел батальон, товарищ полковник, – сказал Борис, подымаясь на крыльцо. – Я привел батальон... в составе пяти человек, в числе которых один офицер. Но меня не удивляет эта цифра, товарищ полковник! И вас, наверно, тоже. Батальон дрался до последнего патрона, хотя вы, товарищ полковник, мало чем помогли нам...

– Что это за тон, капитан Ермаков? – перебил его Иверзев, сдвинув брови. – Полковник Гуляев! Объясните, в чем дело!

Полковник Гуляев поспешил к крыльцу, колыхая лапами своего потертого плаща, и, грузный, привычно вытянулся, подбирая живот, поднял умный, как бы предупреждающий взгляд на Иверзева.

– Капитан Ермаков командовал батальоном после гибели Бульбанюка и Орлова, – сказал он преувеличенно спокойно.

Было короткое молчание. Иверзев как-то сразу потух, потускнел властный блеск в глазах, но, помедлив, он положил на перила крыльца свою сильную белую руку, переспросил тихо:

– Вы говорите, пять... человек и один офицер? – И вдруг, пристально и странно глядя мимо Бориса и словно забыв о нем, заговорил ровным металлическим голосом: – Завтра, товарищи офицеры, будет взят Днепров. Полковник Гуляев, вам, вероятно, известно, что в Городинск прибыло пополнение? Майор Денисов уже без вас заканчивает формирование новых батальонов. Вам немедленно отправиться туда. С капитаном Ермаковым. Сегодня ночью. Денисов уже знает приказ. Вы же, капитан Ермаков, напишите подробную докладную об обстоятельствах гибели батальона... Я вас больше не задерживаю... – Иверзев быстро снял нервные пальцы с перил крыльца, и молча и угрюмо поднял руку к козырьку полковник Гуляев.

«Что он сказал – пополнение? Он сказал так, будто давно знал и надеялся на пополнение? Да, да, конечно, разбитый полк будет сформирован. Да, дадут технику, дадут людей. Что ему до того, что застрелился раненый Бульбанюк, погибли Ерошин, Жорка, братья Березкины... Докладную о них?..»

– Простите, товарищ полковник, – сказал Борис напряженно, уже не сдерживая себя. – Вы надеетесь, что моя докладная воскресит батальон?..

Он выговорил это и будто оглох от своего голоса, доносившегося до него как из тумана, и, в ту секунду отчетливо понимая и чувствуя, что то, что он скажет сейчас, будет ему стоить очень дорого, и только слыша удары сердца, договорил, разделяя слова:

– А мы там... под Ново-Михайловкой думали не о пополнении и докладных... О дивизии, о вас думали, товарищ полковник. А вы просто сухарь, и я не могу считать вас человеком и офицером!

– Что-о?.. – Иверзев сделал шаг к Борису, в его округленных глазах, затемневших на бледном лице, вспыхнул мгновенный гнев, а пальцы правой руки с силой сжались в кулак, ударили по периле. – Замолчать! Под суд отдам! Щенок!.. Под суд!.. – И внезапно, будто сразу остыв, медленно опуская руку, он выдавил надломленным голосом: – Попросите извинения, капитан Ермаков. Сейчас же!

Растворилась дверь, в темном проеме метнулась смутная фигура адъютанта; и зачем-то бежал часовой от калитки, придерживая на груди автомат, и полковник Гуляев, кинувшись на крыльцо, схватил Бориса за шинель, затряс его, весь налитый тревогой, задыхаясь тяжелой одышкой, повторял: «Что ты делаешь?» Но в тот момент Борис сообщал

удивительно спокойно и сначала несколько поразился тому, что и адъютант и полковник Гуляев будто чувствовали вину именно его, Бориса, а не Иверзева, но потом, как-то трезво поняв причины этого, поняв, что случившееся между ним и Иверзовым виделось со стороны иным и страшным, усмехнулся, сказал твердо:

– Я не чувствую за собой вины, товарищ полковник...

И сбежал по ступеням крыльца, прошел мимо часового, машинально отступившего с тропинки, мимо пристально глядевшего на него шофера к «виллису».

– Что ты наделал, капитан Ермаков? Понимаешь, что ты тут наделал? – говорил, шагая сбоку, полковник Гуляев.

– Если он прав – отвечу перед трибуналом, – сухо проговорил Борис и сел в машину. – Я отвечу, товарищ полковник...

Начался дождь. Было пасмурно. За спиной стояла тишина, как будто глухая, безлюдная пустота была там. И только в пустоте этой шумели под дождем сосны.

Полковник Иверзев, бледный, словно обрюзгший сразу, ходил по комнате, сжимая за спиной дрожащие пальцы. Безмолвие затаилось в штабе, шелестел дождь по стеклам, скатывался струями, и лишь шуршало что-то в соседней комнате – не то осторожные шаги адъютанта, не то капли стучали в стены дома.

Лидия Андреевна, сдвинув колени, выпрямившись, сидела на кровати, в полусумраке белело нежное, молодое лицо, блестели чернотой огромные, изумленные глаза. Она молчала, вытянув круглую белую шею, обтянутую воротом суконной гимнастерки, вопросительно следила за Иверзовым и казалась подавленной. И эта затаенность в штабе, смешанное чувство своей вины и своей правоты, воспоминание своего дикого крика на крыльце (она слышала, конечно, этот крик) очень неприятно и гнетуще действовали на Иверзева – он не мог успокоиться.

– Что случилось? – неуверенным голосом спросила Лидия Андреевна. – Ты можешь объяснить?

Он рассеянно поцеловал ее в чистый лоб, насильно улыбнулся.

– Ничего страшного.

– Что случилось?

– Какой смысл вникать тебе во все, что происходит тут?

Он в упор встретился с ее взглядом.

– Да... Но что случилось?

Он не дал договорить ей.

– Лида, я вызову сейчас машину, и тебя отвезут. Не обижайся, дела. Да, очень срочные дела... – повторил он, поглаживая ее подбородок, и опять насильно улыбнулся.

Он поднял ее за плечи, поцеловал в мягкие губы, задумчиво провел ладонями по плечам.

– Ты понимаешь, конечно, меня?

Она сказала:

– Я по тебе соскучилась. Я давно тебя не видела.

– Лида, прости, пожалуйста. Лейтенант Катков, машину Лидии Андреевне! – крикнул он через стену адъютанту.

– Ты очень торопишься? – спросила она обиженно. – Я же только приехала.

– Прости, пожалуйста. Я виноват... прости меня. Сейчас я не могу тебе все объяснить...

Потом он опять нервно ходил по комнате и уже жалел, что напрасно отправил жену, которую он не часто видел и которая полтора месяца назад перевелась в медсанбат дивизии с Белорусского фронта. Но все, что произошло, мучительно давило, угнетало его тем, что именно в этот вечер она была здесь и, видимо, слышала все.

Шел дождь. Было сыро в комнате, и за окном сумеречно; уныло отсвечивали поникшие кусты в палисаднике, и на крышу, шумя по-осеннему, наваливались ветви сосен.

Пытаясь неопровержимой логикой рассуждений успокоить себя, он думал о том, что этому артиллерийскому офицеру, видевшему гибель батальона, еще трудно было понять, какое значение в общей операции армии под Днепром приобретали бои в Ново-Михайловке и Белохатке. Что ж, за этим офицером стояла своя правда ответственности за гибель батальона; за ним же, Иверзевым, стояла еще большая правда ответственности за всю дивизию. И эта стойкость батальонов Бульбанюка и Максимова была для него, командира дивизии, и не только для него, лишь шагом к Днепру, маневром, который должен был в определенной степени обеспечить успех всей операции. Он знал, что завтра решится все. Завтра будет все ясно. Именно завтра... Но эта, казалось, последовательная логика доводов не могла успокоить Иверзева. Ему было хорошо известно, что офицеры не любили его, но это никогда, и даже сейчас, его не беспокоило. Он сам хотел и был человеком приказа и говорил с подчиненными только языком приказа, ибо считал, что не обязан внушать людям любовь к себе. Он был обязан заставлять подчиненных выполнять свою волю. И поэтому он не мог простить капитана Ермакова; однако он знал также, что в случае

неудачи, в которую он не верил, будут искать виновных, а они должны быть, как бы он ни не хотел этого.

Шагая по комнате, Иверзев в раздумье помял, потер за спиной властные гибкие пальцы, позвал повелительно:

– Лейтенант Катков!

Всем видом своим выказывая почтительное участие, вошел адъютант, смиренно наклонил гладко причесанную голову.

Иверзев, хмурясь, сказал:

– Лейтенант Катков, вызовите ко мне майора Семынина и двух автоматчиков.

– Так точно, товарищ полковник, прекрасно понял, – поспешно ответил адъютант. – Смотрите, как он, а? Наглец...

– Не вам судить, лейтенант Катков! – резко прервал Иверзев. – Вы свободны. Еще раз предупредите Алексеева и Савельева: на КП выезжаем в два часа ночи.

– Слушаюсь.

Адъютант закрыл за собой дверь.

Глава семнадцатая

Всю дорогу до Городинска они не проронили ни слова, угрюмо глядели на темный проселок, по свинцовым лужам не переставая сек дождь.

На окраине Городинска полковник Гуляев приказал остановить машину, молча вылез и тут же на околице нашел свободную от солдат хату, затем вернулся, сказал коротко:

– Идем!

Борис ничего не ответил, вошел в хату.

Гуляев потоптался на пороге аккуратно подметенной комнаты с бумажными занавесками на окнах, мрачно пошевелил мокрыми бровями, проговорил:

– За такие штуки полагается тебя под суд, понял? Заварил кашу, ведром не расхлебашь! Ну, а дальше? Дальше что?

– Ну, уж если заварил, так буду расхлебывать до конца, – ответил Борис, бросая фуражку на стол. – Пока вот здесь, в горле, не станет.

– Ты думаешь?

– Думаю, что есть такие, которые надеются: Россия огромна, людей много. Что там, важно ли, погибла сотня-другая людей!

Полковник Гуляев промолчал подавленно – с козырька капало – и, увидя, как снимал Борис свою покорябанную планшетку, тяжелую красную сумку Ерошина, отвернулся.

– Мы с тобой – как родные, со Сталинграда шли, – проговорил он. – Но позволь сказать, хотя я тебя и люблю: ты глупец! Держать всегда надо себя, в руках держать. – Потом, опустив глаза, договорил: – Ты офицер и должен понять: кровь батальона не пролита даром. Иначе, голубушка, дышать нельзя!

– Вы убеждены в том, что говорите?

– Так вот, мальчишка! – грубовато сказал Гуляев. – Сейчас я в полк к Денисову. Узнаю, что с формировкой. К ночи заеду. А ты, зяблик стоеросовый, считай себя под домашним арестом! Все понял?

Дождь порывистым набегом шумел по кровле, звенел по мутному, в потеках оконцу. Темнели косо рябящие под ветром лужи; в них, плавая, мокли листья и не отражалось небо. Борис видел сквозь водянистую сеть, как, нагнув голову, втиснулся полковник в «виллис», как машина тронулась, выдавливая колеи на дороге, мгновенно пропала за стеной качающихся

сосен, и горькая нежность к Гуляеву шевельнулась в душе его.

– Хозяйка, можно ли горячей воды? – сказал Борис. – А впрочем, и холодная сойдет.

Хозяйка, темноволосая невысокая женщина, статная для своих уже немолодых лет, аккуратная, крепконогая, с полной грудью, мягко излучая из глубины прозрачных глаз ласковый свет, пропела звучно:

– Холодной? Обдеретесь весь. Вон яка щетина у вас. Мой человек холодной не брився... Разве жалко воды?

– А муж где же? Воюет?

– Где ж ему быть? С сорок первого року. Може, и неживой уже. – Хозяйка всхлипнула, наклоняя голову, из-под ситцевой косынки трогательно забелела по-девичьи ровная ниточка пробора.

– Ну, не стоит, не надо это, слезы никогда не облегчают, – заговорил Борис, и ему захотелось успокоить ее, погладить по волосам возле этого жалко-аккуратного пробора. – Ну, что же плакать? Война кончится, все станет ясным. – И тронул ее горячее крутое плечо. – Ведь всему бывает конец...

Она не отстранилась, а только концом косынки утерла нос, прерывистым вздохом высоко подняла грудь, сказала:

– Когда ж она кончится? Закрутила она весь свет, як цыган солнце!

– Да, закрутила, – задумчиво согласился Борис. – Закрутила...

Она медленно посмотрела сквозь смокшиеся ресницы, закивала, заморгала, и Борис спросил почти родственно:

– Трудно?

– Ой, как лихо, – прошептала она и, закрыв глаза, головой покачала.

Бреясь, он глядел в пожелтевшее зеркало на свое исхудавшее лицо, от которого он как бы отвык, и не узнавал, иногда видел, как входила и выходила хозяйка, ловил внимательные взгляды украдкой и с нежной жалостью к ней, к неизвестной, одинокой жизни ее думал: «Если бы месяц назад... А сейчас?»

Тот знакомый и незнакомый человек в зеркале, задержав помазок на намыленной щеке, посмотрел грустно, непрощающе.

Он чувствовал, что остыл, что выжгло что-то, опустело в нем, и уже не хватало той прежней энергии, той силы, что не сдерживала его прежде. Он подумал о Шуре, о ее стыдливых и исступленных руках в первую ночь в землянке, обнимавших его и будто не хотевших этой близости. «Нет, ты не любишь меня, не жалеешь совсем. Тебе хорошо со мной? Ну, скажи, что хорошо!» – и тот почти незнакомый, усталый человек в зеркале болезненно

прижмурился, точно вспомнил, что был когда-то непоправимо виноват.

«Что это я? О чем? Размотались нервы. Такое чувство, словно заплакать готов!.. Совсем никуда! – подумал он, поглаживая пальцами возникшую снова ноющую боль в левой стороне груди. – Огрубел, огрубел за три года... Все казалось простым, как выбриться вот».

– С кем вы говорите? – вкрадчиво спросила хозяйка за его спиной. – Сумно вам, чи що? Кого вы в зеркале бачите?

Неслышно подошла сзади, наклонилась, чуть задев упругой грудью его плечо, и, заглядывая в зеркало с медленной улыбкой, касаясь мягким, как вода, взглядом его лица, лба, бровей, шепотом повторила, дыханьем тепло шевельнув его волосы:

– Кого ж вы бачите? Веселый были... и нахмурились... Сумно?

И он, внезапно тронутый этим, погладил дружески ее руку, шершавую, несмелую, сказал откровенно, как давней знакомой:

– Устал я. Вот отдохну, все пройдет. Устал очень...

Она выпрямилась и тотчас кинулась к постели в углу, взбивая чистые высокие подушки, и он тогда проговорил просто:

– Не надо. Мне на лавке. Спасибо. Мне только подушку.

Двигаясь бесшумно и легко, она накинула телогрейку, тихонько, не загремев, взяла ведро, взглянула своими прозрачными глазами и вышла из хаты.

Борис облегченно бросил шинель на лавку. Дремотно стучал по крыше дождь, серый сумрак стоял за окнами.

Он давно потерял ощущение времени, и эти дождливые сумерки осеннего вечера казались ему вчерашними вечерними сумерками, даже те ощущения, что были вчера, не покидали его полностью и сегодня. Но он смертельно был утомлен всем, что случилось в эти ночи и дни; с желанием хотя бы короткого сна лег на расстеленную на лавке шинель, голова непривычно утонула в блаженном пуху подушки. Долго не мог уснуть под тихое бормотание дождя. Потом сон мгновенно окунул его в теплую летнюю реку, прикоснулся к пяткам накаленным песком желтого пляжа, залитого жарким солнцем; по песку, в трусиках, с веслом на плече, шел кто-то знакомый, улыбающийся, но кто – он никак не мог узнать. «Кто это? – тенью толкалась сквозь сон мысль. – Не может быть! Ерошин убит...»

Он вскочил, сел на лавку, видя мутные струи дождя, сбегаящие по стеклу, подумал: «Нервы, нервы расходились... – и ударил по подушке. – Контузия, черт бы ее взял!»

Он долго сидел и, зажмурив глаза, пальцами задумчиво трогал брови; потом лицо его дернулось и сморщилось.

«Ерошин? Тот двадцатилетний лейтенант. Вот его сумка, новая, недавно полученная вместе с пистолетом, с ремнем, с обмундированием».

Он расстегнул сумку. В ней были полученные в училище золотые погоны, суконная пилотка, завернутые в бумажку новые звездочки, бритвенный прибор, потертые письма, пара чистого белья, карандаш и школьная в линейку тетрадь. Последние листы были вырваны, – очевидно, для писем. Он нашел одно, недописанное, неотправленное. Стояла дата – 15 июня 1943 года.

"Прощай, Таня!

Ты меня простишь, конечно, что я не подошел к тебе на вокзале, когда ты разговаривала с лейтенантом Михаилом Дариновским. Я не хотел вернуть тебе твою фотокарточку, которая тебе не нравилась. Пусть она будет со мной, как воспоминание. Я ведь тебя любил!

Я вернусь к тебе другим, ты не узнаешь меня. Я еду на фронт, чтобы совершить... (зачеркнуто). Родина! Я люблю солнце, лес, воду, траву, маму, тебя... да, я очень люблю тебя...

*Я тоскую по паркам, садам,
Где следов не найдешь уж моих,
И по серым любимым глазам...
Как мне грустно без них!*

Это напевает Мишка Дариновский.

Едем в эшелоне. Я лежу на нарах, вспоминаю тебя и все вижу... Вижу, как будто все было только сейчас. Я вернусь другим. Уверен, меня не убьют. Мишка Дариновский сидит внизу, насвистывает, чистит ТТ. Значит, он любил тебя? Но почему не сказал прямо? Честность, Таня, честность – без нее нельзя жить".

«Эх, Ерошин... Ерошин», – думал Борис, до ясной отчетливости вспоминая его веселое, возбужденное лицо, его просящий мальчишеский голос: «Товарищ капитан, я не могу бросить взвод!» – и ту бомбежку в окруженной деревне, где погиб он.

Ему хотелось увидеть фотокарточку Тани, о которой так сдержанно и так непонятно писал лейтенант Ерошин, но не нашел ее в сумке. Она, очевидно, осталась у него в кармане, погибла вместе с ним.

Борис лег, отвернулся к стене и долго лежал неподвижно, не раздеваясь, не снимая сапог, потом медленно забылся...

...Глубокой ночью его разбудили громкий стук в дверь, движение

возле хаты. Он услышал заспанный певучий голос хозяйки вперемежку с мужскими голосами.

Он сел, ничего не видя в густой темноте, инстинктивно потянулся за оружием, крикнул:

– Кто там, хозяйка?

– К вам, чи що? – растерянно ответила она из потемок. – Где ж зажигка? Туточки была.

Какие-то люди, топая сапогами, входили в хату.

Сейчас же чиркнула зажигалка, осветила полные белые руки хозяйки; наклонив сонное лицо, она зажгла керосиновую лампу, понесла ее к столу. В комнате запахло свежестью дождя, потянуло влажным ветром из растворенных дверей. Борис, ничего не понимая, спросил:

– Кто пришел?

В комнате стояли трое. Майор, высокий, худой, с белесыми бровями, и рядом – двое солдат в отяжелевших от воды плащ-палатках; на груди мокро блестели автоматы.

Майор, настороженными глазами глядя на Бориса, некоторое время молчал; лицо майора было знакомо – оно несколько раз встречалось в штабе дивизии.

– Капитан Ермаков? – тусклым голосом проговорил майор. – Ваша фамилия – Ермаков?

Борис нахмурился, затягивая на гимнастерке ремень, отталкивая на бедро кобуру: с вечера он так и не успел раздеться – даже сапог не снимал.

– Не совсем понимаю. В чем дело?

– Вы арестованы, капитан Ермаков. Сдайте оружие, – проговорил майор бесцветным голосом, и по тону его голоса Борис сразу понял все.

– Вам? Сдать? Оружие? – спросил Борис, бледнея, и, усмехнувшись, опустил руку на ремень, привычно оттянутый тяжестью пистолета. – Вам? Да?

– Ваше оружие!

Майор подошел к Борису, неторопливым движением протянул руку ладонью вверх. Борис посмотрел на эту ладонь, потом резко поднял глаза на майора – встречный, холодный, понимающий взгляд будто физически коснулся его зрачков.

Борис сказал:

– Если мой арест связан с Иверзевым, то все имеет значение. Так, значит, вам оружие?

Он стал замедленно расстегивать кобуру.

– Не делайте глупости, капитан Ермаков! – предупредил майор

настороженным тоном.

Борис вынул пистолет, взглянул на него быстрым, что-то решающим взглядом и снова помедлил немного.

– Ладно. Я уже сделал одну глупость, – сказал он и неожиданно спокойно прибавил: – Вот мое оружие. Пойдемте. Я готов.

– Оденьтесь. Дождь, – посоветовал майор, уже равнодушно сунув пистолет в карман.

– Шинелька туточки, шинелька туточки, – вдруг раздался замирающий голос хозяйки. – Ось она!

Тогда Борис остановился посреди хаты, ласково и грустно посмотрел на встревоженное, непонимающее лицо хозяйки, которая выглядывала из другой половины, потом накинул шинель на плечи, сказал:

– Пошли.

Глава восемнадцатая

В тот момент, когда артиллерийский огонь был перенесен в глубину немецкой обороны, когда грохот разрывов отдалился от командного пункта полка и пригороды Днепрова еще сплошь застилались дымом, из второго батальона сообщили: роты пошли. Стоя в окопе, вырытом за трамвайной насыпью, полковник Гуляев хмуро принял донесение и видел, как двинулся вперед второй батальон.

Перескакивая через свежие воронки, люди бежали к смутно проступающим из дыма крайним домикам среди сосен, Гуляев не слышал крика атакующих рот; мнилось, люди бежали к немецким окопам молча. И после длительной бешеной артподготовки безмолвное движение батальона казалось ему малообнадеживающим и малодейственным. Это чувство всегда возникало у него после артиллерийского огня в минуты начатой атаки, когда людская жизнь представлялась особенно непрочной.

Гуляев насупленно полуобернулся к Иверзеву, стоявшему в двух шагах с биноклем, перевел взгляд на полковника Алексеева и увидел нетерпеливое выражение на лице командира дивизии и как бы прислушивающиеся глаза Алексеева из-под капюшона плащ-палатки. В это мгновение телефонист осипшим от команд голосом доложил, что второй батальон капитана Верзилина ворвался в гитлеровские траншеи, и тотчас ощущение непрочности человеческой жизни исчезло. Гуляев торопливо смахнул с подбородка капли дождя и, чувствуя колющие мурашки на коже лица, крикнул телефонисту:

– Первый и третий – вперед!

Он отдал команду и увидел; Иверзев поднял бинокль, а Алексеев сбоку взглянул на него и отвернулся. Были это новые, спешно сформированные батальоны, и после команды Гуляева прекратилась беготня связных на КП и как срезало голоса телефонистов, и только по наступившей тишине хлестал дождь.

– Первый и третий – вперед! – повторил Гуляев. – Вперед!

Первый батальон, занимавший позицию по фронту, поднялся из траншей. Стала слышна автоматная и винтовочная пальба, поле закишело людьми, они бежали в сторону поселка – к немецким окопам.

Частые разрывы мин квадратами легли впереди, загрозили фигурки солдат, и Гуляеву было видно, как падали люди, как отползали в стороны от разрывов по всему полю.

– Вперед! – крикнул он телефонисту.

Мины вздергивали землю впереди и сзади наступающего батальона, но фигурки уже подымались, бежали и ползли сквозь ядовито-желтый дым, мимо чернеющих воронок, и опять поле словно стремительно покатилося к домикам.

– Молодцы! – возбужденно сказал Иверзев, быстрым движением отнимая от глаз бинокль. – Молодцы ваши, полковник Гуляев! Как вы полагаете, Евгений Самойлович?

Алексеев посмотрел на него из-под капюшона ничего не выражающим взглядом и ничего не ответил.

Полное лицо Иверзева, покрытое молочной бледностью возбуждения, было мокро от дождя, глаза с горячим блеском улыбались, потемневший от влаги плащ вольно расстегнут, и странно было видеть Гуляеву налипшую на рукава его окопную грязь.

«Ишь ты, – неприязненно подумал Гуляев, – вслед за Алексеевым на КП пришел!»

Полковник Алексеев щелкнул портсигаром, не торопясь достал папиросу и, очень высокий, узкоплечий, нескладно наклонился к телефонисту – прикурить. Был полковник внешне спокоен, аккуратно выбрит, в сыром воздухе слабо тянуло запахом цветочного одеколона: Алексеев был верен своим привычкам.

Гуляев и многие офицеры в полку знали, что с тех пор, как Иверзев стал командиром дивизии, замполит все чаще пропадал на передовых позициях; говорили, что Иверзев недолюбливал Алексеева так же, как Алексеев недолюбливал его.

– Молодцы! – повторил Иверзев, снова подымая бинокль. – Молодцы! Кто командир батальона?

– Майор Лутов, – сухо сказал Алексеев и кивнул Гуляеву. – Я не ошибся, Василий Матвеевич?

– Да, это Лутов, Лутов, – ответил Гуляев.

– Представить майора и отличившихся солдат! – громко сказал Иверзев. – Сразу же после боя! Позаботьтесь о наградных, Евгений Самойлович, – уже иным тоном обратился он к Алексееву.

Гуляев не расслышал, что ответил Алексеев. Глухо ударив в землю и точно пытаясь расшатать ее, возле КП разорвались, оглушив бомбовым хрустом, два дальнобойных снаряда, лавина земли обрушилась на окоп, комья зашлепали по плечам Гуляева, по телефонным аппаратам. Иверзева откинуло к другой стенке окопа, сбilo фуражку. Возбужденно смеясь, он поднял ее, разглядывая поцарапанный козырек с удивлением.

– Все живы? – крикнул он.

Полковник Алексеев, весь осыпанный песком, заинтересованно вертел в пальцах мундштук от папиросы, говорил:

– Вот и покурил, весь табак выбило.

Желтый дым понесло в поле, и не стало видно бегущих там фигурок людей, круглых вспышек мин – все исчезло, только за спиной беглым огнем били прямой наводкой наши батареи. Снаряды, шипя, проносились над КП.

Низко под дождливыми тучами с рокотом прошла первая партия штурмовиков; на конце поля одна за другой описали полукруг красные ракеты – то давали сигнал самолетам третий и второй батальоны. И на КП увидели: штурмовики снизились над опушкой, стали нырять над ней, протяжно скрипели «эрэсы».

– Что там в первом? – крикнул Гуляев связисту. – Передайте: не медлить, не медлить! Броском вперед!

По ракетам, по звукам стрельбы он знал теперь, что два батальона были уже в районе пригорода, и необъяснимая медлительность первого батальона взвинчивала его. Он понимал, что значит потерять темп атаки. Багровея всем крупным своим лицом, он выдернул трубку из рук связиста, присел на корточки.

– Капитан Стрельцов? Ты что медлишь? Что чешешься? А ну, подымай людей!

– У немцев два дзота, товарищ полковник. Лупят из пулеметов!

– Какие дзоты, где? Артиллерия все с землей смешала! А ты медлишь!..

– Никак нет, товарищ полковник. Уцелели как-то. Посмотрите возле трамвая. Артиллеристам бы огоньку...

Гуляев раздраженно втолкнул трубку в руки телефониста и посмотрел. Метрах в двухстах слева от КП тянулись траншеи первого батальона, и впереди позиции Гуляев хорошо видел распластанные на земле тела солдат, многие отползали назад в окопы, прыгали в них.

На окраине городка, возле дачных домиков, где делала круг трамвайная линия, лежал на боку красный вагон и слева, справа от него – два бугорка земли, из них рывками плескал огонь. Четко работали немецкие пулеметы. С чувством злости против артиллеристов Гуляев обвел биноклем ближние дивизионы арtpолка, бегло стрелявшие по дачному поселку, и нашел свою полковую батарею. Сформированная из пополнения, она стояла впереди дивизионов на прямой наводке в редких кустах. Вокруг пушек суетились люди. Там командовал присланный из училища молоденький лейтенант, и Гуляев, взбешенный близорукостью батарей,

бессилием и медлительностью батальона Стрельцова, вдруг сказал, ненавидяще косясь на заострившееся лицо Иверзева:

– Капитана Ермакова бы сюда! Вот кого бы сюда, товарищ полковник! А Ермаков в кутузке сидит! Самое время!

Кровь прилила к его голове, он почувствовал, что теряет самообладание, но в следующую секунду мысль о том, что слова его сейчас бессмысленны, заставила его замолчать, трезво оценить положение.

– Связь с батареей есть? – сдерживая одышку, спросил он телефониста.

– Связной здесь.

– Связной из батареи! – закричал Гуляев. – Ко мне!

Иверзев шагнул к Гуляеву, тонкие ноздри его раздувались, две волевые складки проступили возле рта.

– Разглагольствуете тут, а батальон лежит. Весь батальон лежит! Двух дзотов испугались? Вперед! Все испортите! Там – Днепров, вы это сознаете? Мы первые должны ворваться в город! Иначе – грош нам цена! Грош цена!..

– Я подыму этот необстрелянный батальон, товарищ полковник, – очень тихо ответил Гуляев. – Я подыму.

– Подождите. У нас, кажется, достаточно артиллерии. Я пойду к батарее со связным. Я хорошо вижу эти дзоты, – сказал озабоченно Алексеев и повторил: – Я вижу.

Он легонько сжал локоть Гуляеву, быстро стал развязывать тесемки плащ-палатки. Она мешала ему. Алексеев кинул ее на солому траншеи и сказал связному:

– Ну? Самым ближним путем! Есть?

Никто не остановил Алексеева.

Все видели, как он со связным вышел из хода сообщения, взобрался на трамвайную насыпь и сбежал в поле, хорошо заметный по высокому росту в своей шинели не серого, а темного цвета. Он постоянно носил эту шинель, и в батальонах его сразу узнавали по ней.

«Ложись! Ползком! Бегом!» – хотелось крикнуть Гуляеву, в душе любившему Алексеева за сдержанность и интеллигентность, то есть за те качества, которых не хватало самому, и, глядя на полковника, он сам невольно пригибал голову.

– Замполит пошел, – свистящим шепотом сказал приподнявшийся от аппарата телефонист. – Честное слово, срежут его!

Алексеев и связной упали два раза, когда рядом рассыпались мины. Обоих накрыло дымом. Все ждали, когда они встанут, меряя взглядом то

пространство, которое отделяло их от батареи. Но встал один Алексеев. Он наклонился над пытавшимся встать связным, поднял его и понес к огневой позиции.

– Ранило, что ли? – сказал Гуляев, морщась. – А ну, Стрельцова! – обернулся он к телефонисту.

В это время Иверзев вызвал по связи подполковника Савельева и передал ему приказ: открыть огонь по дзотам, срочно отозвать взвод танков из приданного дивизии подразделения. Ему ответили, что огонь будет открыт, что танки пошли по шоссе, прорвались к западной окраине поселка, ведут бои с немецкими танками; соседние дивизии, встретив сильное сопротивление, обходят Днепров в северо-западном направлении.

Иверзев, нервно раздувая ноздри, стремительно подошел к Гуляеву, стискивая побелевшими пальцами бинокль.

– Лежат! Понимаете, что медлительность испортит все! Не подавили немецкие минометы!.. Вы понимаете? Мы этой медлительностью сдерживаем соседей, мы!.. Нельзя ждать! Нельзя!.. Ни минуты!.. А ну! Автомат мне!.. Автомат мне!..

Он произнес эти слова и, сорвав с груди бинокль, сразу же схватил чей-то прислоненный к стене окопа автомат, и в то же мгновение, почувствовав в руках мокрое от дождя ледяное железо, он ощутил в себе силу, злость и уверенность в том, что именно сам подымет сейчас залегший батальон. И хотя разумом понимал, что делать это командиру дивизии глупо и не нужно, будто разжатая пружина толкнула его к действию, и он не искал уже оправдания тому, что делает.

И, стиснув автомат, он быстро пошел по ходу сообщения, весь возбужденный, гневно неся свое большое тело, с той готовностью и яростной верой, которые возникают только в моменты непреклонной, слепой решимости.

Все смотрели на него молча.

Он показался на трамвайной насыпи и там ускорил крупные шаги, потом побежал к темнеющим окопам, где под огнем лежали люди.

Иверзев бежал как сквозь багровую пелену, с обостренным ощущением, что земля катится, ныряет, падает под его ногами, мелькает и мчится вместе со свистом пуль, летевших ему в грудь. Лицо и шею его осыпало дождем, и он ощущал, что мгновенно взмок не от дождя, а от жаркого пота, облившего его, как парным воздухом.

«Только успех, только успех!.. – огненными толчками плескалось в его сознании. – Неудача – и дивизии не простят ничего!.. Только успех! Только успех!..»

И хотя Иверзев понимал, что рядом свистит смерть – так близко слышал ее тонкий железный голос, – он горячо убеждал себя, что его не сразит пуля, и в голове ударами билась мысль о том, что он не должен умереть, не имеет права умереть в этом бою.

Когда же он подбежал к траншеям первого батальона и пулеметные очереди непрерывными ударами застегали по земле, под ногами его и над головой, лицо Иверзева, потное и гневное, было страшно, он словно увидел его со стороны.

– Батальо-он!.. Впере-ед!..

Он перешагнул через тела убитых, ткнувшихся ничком в землю; бросились в глаза новые обмотки на их ногах и зеленые вещмешки на спинах, мелькнуло меловое лицо незнакомого капитана, зажавшего пистолет в руке, выскочившего из траншеи с группой солдат, и тотчас появилась сбоку от капитана узкоплечая фигура в темной шинели, и зовущий крик прорезал треск пулеметов:

– Коммунисты, за мной!..

Тогда Иверзев понял, что рядом Алексеев, и, высоко вскидывая автомат над головой, наклонился вперед, подавая команду и не узнавая накаленный свой голос:

– Впере-ед!

И оттого, что в трех шагах от него во весь рост двигался Алексеев, оттого, что люди бежали за Алексеевым и за ним, Иверзевым, бежали, не пригибаясь к земле, раскрыв перекошенные криком рты, выставив перед собой автоматы в ту сторону, где возле перевернутого трамвая взлетали столбы артиллерийских разрывов, вдруг порывистые слезы какого-то радостного отчаяния заклокотали у Иверзева в горле.

– Батальо-он, впере-ед!.. За мноо-ой!..

«Вот оно как, вот оно как... – мелькнуло в разгоряченном мозгу Иверзева, ясно видевшего, что сам он бежит прямо на пулемет, в упор плещущий ему в грудь. – Вот оно как, вот оно как...»

На КП видели, как метрах в пятидесяти от дзотов Иверзев упал. Человек в темной шинели подбежал к нему, потом стал на одно колено. Гуляев, до этого со злобой наблюдавший за неприцельным огнем полковой батареи, уже перестал следить за точностью огня. Вся артиллерия, что стояла на участке наступления полка, теперь была прямой наводкой по двум дзотам, задерживавшим продвижение батальона. Дым заволок половину поля, и в прорехах мельтешили силуэты солдат, краснело пламя – горел перевернутый трамвайный вагон.

Полковник Гуляев, сжав в запотевших пальцах бинокль, слышал, как

двигались, шептались телефонисты и офицеры за спиной, произнося фамилию Иверзева, но и без того ему было ясно, что Иверзев убит или тяжело ранен.

«Да, я его не любил, – подумал он сейчас. – Иверзев был слишком непрост, но я хорошо понимаю, почему он сам повел в атаку батальон. Очень хорошо понимаю...»

Когда дым развеяло, Гуляев не увидел на поле ничего, кроме воронок, тускло пылающего трамвайного вагона за насыпью, тел убитых и санитарной повозки, мчавшейся по полю.

Батальоны заняли пригородный поселок. В глубине его отдаленно урчали танки. Слева тяжелые «студебеккеры» тянули по дороге орудия. К самому КП подкатили открытые, без брезента «катюши» и с оглушающим скрипом, окутываясь желтыми тучами дыма, выметнули молнии в дождливое небо над лесом.

– Сниматься! – приказал Гуляев и крикнул сердито: – Связь с первым батальоном! Пусть доложат потери! Немедленно!..

Ему доложили потери второго и третьего батальонов. Он выслушал донесения недоверчиво и молча, шагнул к телефонисту, вызывавшему капитана Стрельцова, присел на корточки, поторопил полуласково:

– Ну, что же ты, голубчик чертов, связист называется! Запроси потери, потери в первом батальоне... И пусть сообщат об Алексееве и Иверзеве.

Ему доложили потери и сообщили, что Иверзев ранен пулеметной очередью в руку.

– «Виллис» сюда! – скомандовал Гуляев.

Здесь же, на опушке соснового леса, вне зоны огня, Иверзев приказал выстроить первый батальон. Офицеры отдали команды. Люди с осунувшимися лицами, темными от потеков горячего пота, с расстегнутыми воротниками грязных, мокрых шинелей устало строились под соснами, пинками отшвыривая немецкие противогазы, железные коробочки сухого спирта, разбросанные на желтой хвое.

А Иверзев, без фуражки, в распахнутом плаще, замазанном глиной, стремительно шел вдоль строя, прижимая к груди раненую руку в бинтах, побуревших от крови.

Порой он останавливался, вглядываясь в потные, черные лица солдат, тогда, очевидно, память его выбирала то лицо, которое запомнилось во время атаки.

Он делал шаг к солдату и молча целовал его, обняв одной рукой.

Так прошел он вдоль всего строя батальона. И когда приблизился к

Алексееву, лицо его странно дрожало.

– Составить списки солдат, – сказал он Алексееву сдавленным голосом. – Весь батальон наградить. Всех! До одного солдата! Распорядитесь, Евгений Самойлович!

Алексеев передал распоряжение командиру батальона и парторгам рот, затем подошел к Иверзеву, с усталым наслаждением дымя цигаркой непомерной величины, сказал:

– Вам нужно в медсанбат, Владимир Николаевич.

Иверзев сидел на пеньке, пристально глядел на растянувшийся поредевший батальон, который скорым шагом двигался по дороге дачного полуразбитого нашей артиллерией поселка.

– К черту! – крикнул Иверзев и поднялся. – Сдавать дивизию? Госпитальная койка – не-ет! – и подозрительно покосился на Алексеева.

Крупными шагами он стал ходить между воронками под соснами, небрежно придерживая на перевязи левую руку в набухающей кровью повязке, и по тому, как углубились синие глаза его, Алексеев догадался, что он преодолевает боль, которую раньше по-настоящему не испытывал сгоряча.

– Ну, говорите, говорите!.. – раздраженно сказал Иверзев. – Что вы обо всем думаете, что?.. Говорите!..

Над вершинами сосен, едва не задевая их поджатыми шасси, проносились партии ИЛов; грозный и тяжелый рокот танков долетел от западной окраины поселка.

– Я бы лично мог вас простить, матери убитых – не знаю, – сказал Алексеев как можно спокойней. – Я ненавижу кровь, товарищ полковник, хотя это и война.

– Мы взяли Днепров, – хрипло выговорил Иверзев. – Мы взяли Днепров!.. – и замолчал, снова сел на пенек, неподвижно глядя себе под ноги.

Минут через пять почти одновременно подъехали на «виллисах» полковник Гуляев со штабом и подполковник Савельев в сопровождении адъютанта Иверзева. Адъютант с термосом и вещмешком, набитым продуктами, выскочил из машины, бросился к Иверзеву.

– Что с вами, товарищ полковник?

– Там, на поле, возле дзотов, найдешь мою фуражку, потом догонишь, – отъединяя слова, проговорил Иверзев и махнул здоровой рукой Гуляеву, который грузко и обеспокоенно подходил к нему. – По машинам. Вперед!

Уже полулежа в «виллисе» справа от шофера, Иверзев попросил у

Савельева карту. Савельев, не выпуская из зубов незажженную трубку, сидел с болезненно ввалившимися щеками, безмолвно подал на планшетке карту. Полковник Иверзев, разложив ее на коленях, долго смотрел на извилистые нити дорог, ведущих к Днепрову, потом, не оборачиваясь, сказал через силу громко:

– Составьте к наградам списки офицеров первого батальона. Сейчас же! Потрудитесь, Евгений Самойлович, – добавил он мягче. – Кажется, отныне наша дивизия будет «Днепровской».

Составляя список на листе блокнота, Алексеев слышал возле сосредоточенное сипение трубки Савельева, изредка начальник штаба ровным голосом подсказывал имена офицеров. «А он-то, он как? Что думает?» – спросил себя Алексеев и посмотрел на начальника штаба. Савельев кончиками подрагивающих худых пальцев ощупывал трубку, вопросительно глядя на светлые волосы задумчиво сидящего впереди Иверзева. И Алексеев подумал, что Савельеву, обремененному штабными заботами и больным сердцем, хотелось сейчас только одного – короткого отдыха.

– Сердце? – с тихой строгостью спросил Алексеев. – Да, Семен Игнатьевич?

– Нет, нет, пустяки, – почему-то шепотом ответил Савельев. – Так, думаю. Мне кажется, вы забыли несколько фамилий.

– Кого?

– Бульбанюка, Орлова и Максимова, – также шепотом ответил Савельев.

– Я хотел составить на них отдельный список. Посмертный, – тихо проговорил Алексеев и положил ладонь на худое колено начальника штаба. – Да, вы правы. Спасибо.

«Виллис» подкинуло на ухабах, Иверзев, замычав сквозь сжатые зубы, здоровой рукой поддержал за локоть раненую, но шоферу ни слова не сказал, лишь повернул осыпанное потом лицо к Алексееву и Савельеву.

– Готово? – спросил нетерпеливо.

Он быстро прочитал список. Сбоку было видно, как задержался хмурый взгляд Иверзева и на трех фамилиях, написанных рядом; затем после молчания он протянул руку к Алексееву, сказал:

– Дайте карандаш.

Он положил список на карту и против трех фамилий стремительным, бегущим почерком приписал: «Посмертно. За взятие Днепра. Ордена Красного Знамени».

Он поставил жирную точку, и грифель карандаша сломался, – опять

качнуло «виллис», опять раненая рука ударилась о локоть шофера.

Потом, отдавая список Алексееву, он сказал сдавленным болью голосом:

– Припишите капитана Ермакова, – и добавил, пристально глядя на дорогу: – Пленных бы, первых пленных встретить!..

Первых пленных встретили на окраине Днепра возле колонны танков, загородивших дорогу. Приглушенно работая моторами, танки стояли посреди мощеной улицы, подымавшейся в гору к пустым домам с выбитыми стеклами. «Виллис» остановился.

– Вот он, Днепр, – сказал Иверзев и, придерживая раненую руку, вылез и осмотрелся.

В танках один за другим открывались башенные люки. Торопливо стягивая шлемы, подставляя головы дождю, прокопченные порохом танкисты вылезали из горячих недр машин, от которых жарко несло запахом нагретого железа, раскаленных стрельбой пушек. Оживленно переговариваясь, танкисты осматривали поцарапанную броню, крутили чудовищной длины самокрутки. Весело сплевывая на мостовую, поглядывали вперед, на сгрудившуюся под желтыми каштанами толпу пленных. Их конвоировал огромного роста и мрачного вида старшина, не в меру обвешанный гранатами и с автоматом за просторной спиной. Напрягая толстую шею, он командовал им что-то, указывая красной ручищей то на одного пленного, то на другого. Немцы перепуганно и заискивающе кивали, бестолково жались в кучу, отодвигаясь подальше от танков, вбирали головы в плечи, – видимо, не понимали конвоира. Танкисты хохотали, крича с высоты башен:

– Ты им пошпрехай, пошпрехай!

Иверзев и Алексеев подошли к пленным. Танкисты перестали хохотать, мрачного вида старшина, щелкнув каблуками кирзовых сапог, расправил мощную крутую грудь, прогудел басом:

– Пленные в количестве девятнадцати человек, товарищ полковник. Сопровождаю в тыл. Не понимают русского языка, никак построить невозможно. Так полагаю, что фрицы думают, танками их давить будут. Разрешите вести?

Алексеев улыбнулся. Иверзев, бегло оглядывая изможденные лица пленных, спросил:

– Офицеры есть? Среди пленных есть офицеры?

– Да кто их разберет, товарищ полковник, – пророкотал старшина, сурово всматриваясь в пленных, как бы очень недовольный тем, что среди них нет ни одного генерала. – Вроде один тут. По виду – важная птица.

Прямо из машины взяли. Вон в середине стоит, видите? Губы поджал. Ком, ком, вот ты... Ком, ком, шпрехен, гут, гут!

Старшина со старательной деликатностью поманил пальцем невысокого пожилого немца, в черном, глянцеви́то блестящем плаще, без фуражки, с рыхлыми холеными щеками. И немец этот, чуть заметно дрогнув узким ртом, властно отстранив стоявших впереди него пленных, вышел из толпы. С почтительной холодностью устремив на Иверзева выцветшие глаза, он произнес что-то, слегка склонив мокрую от дождя голову.

– Что он сказал, Евгений Самойлович? – резко спросил Иверзев. – Вы, кажется, знаете немецкий?

Алексеев ответил:

– Я могу ошибиться, но что-то вроде того, что он уважает храбрость русских офицеров, которые получают раны в бою.

– Поза! Стоит им попасть в плен, как сразу встают в благородную позу! – насмешливо проговорил Иверзев. – Спросите его подробно. Кто он? И чем командовал? Что он думает об операции русских под Днепром, в Ново-Михайловке и Белохатке? Очень подробно расспросите!

Алексеев стал задавать вопросы, и Иверзев видел, как после каждой ответной фразы немца менялся цвет его выцветших глаз, и по интонации голоса пленного, по коротким восклицаниям: «О, Ново-Михайловка!» – почти понял все, что отвечал он.

Полковник Иверзев стоял, слушал этот чужой, неуловимо выговаривающий чужие слова голос и чувствовал, что и немец, его шевелящиеся рыхлые щеки, и толпа пленных, и наши танки на мокрой мостовой сереют, расплываются, словно покачиваясь в легком звоне, и что-то неровными толчками бьет в виски. Тогда он повернулся и, стараясь идти твердыми шагами, направился к «виллису». Возле машины он покачнулся, и, только через несколько минут придя в себя, уже в машине, он с досадой понял, что у него был короткий обморок от потери крови. Он услышал ровный шум мотора, свист ветра, близкий голос Алексеева и на локте приподнялся.

Объезжая воронки на мостовой, горящие немецкие танки, «виллис» мчался мимо влажных сквозистых осенних каштанов днепровских улиц, затянутых мелким дождем; мелькали намокшие плащ-палатки солдат на тротуарах. Сквозняки пронизывали машину, пахло гарью жженных кирпичей, пеплом; брызги летели на горячее лицо Иверзева. Грудь и ноги его прикрывала темная шинель Алексеева, и сам Алексеев, наклонившись к Савельеву, говорил вполголоса:

– Они были совершенно уверены, что удар по Днепрову будет нанесен южнее города. В том числе со стороны Ново-Михайловки и Белохатки. И поэтому они оттянули с севера от Днепра часть сил. И даже после гибели батальонов держали там танки и мотопехоту. Но если бы мы... О, господи! – Алексеев внезапно замолчал, тронув плечо шофера, добавил: – Костя, в санроту.

– Значит, так, – слабо проговорил Иверзев и, сделав усилие над собой, приподнялся, опираясь здоровой рукой. – Значит, так, – повторил он уже подтвердившим голосом и, откинувшись на сиденье, закрыл глаза, но Алексеев вдруг заметил его задрожавшую щеку и снова услышал едва различимый, глухой, срывающийся голос:

– Если бы я мог... Если бы я мог... – И Иверзев круто наклонил голову, касаясь плечом щеки, будто сдерживая ее дрожь.

Ни Алексеев, ни Савельев не смотрели на него, стесняясь этого жутко, болезненно прозвучавшего голоса, каким не мог говорить Иверзев, и только шофер испуганно покосился на командира дивизии, увидел незнакомо-страдающее его лицо, то лицо, которое привык видеть беспощадно властным, с холодным, не пропускающим внутрь взглядом. И было страшно то, что он морщился, закрыв глаза, но слез не было.

Глава девятнадцатая

Борис сел на первую попутную машину и долго трясся в кузове среди бензиновых канистр, которые дребезжали, двигались и весело подскакивали, напоминая ему о свободе, о скорости, о неровной, разбитой танками и орудиями дороге, знакомой дороге наступлений.

Леса кончились, и развернулась, кружась, обдавая стремительным сырым ветром, ровная даль, затянутая лиловым туманцем в низинах, с далекими темными извивами Днепра, ставшего будто на ребро; а над ним уже проступали, уходя к чуть порозовевшему небу, громоздкие очертания города. Это был Днепров. Там, за этим городом, уже двигались по шоссе на запад новые батальоны полковника Гуляева. Так сказали Борису час назад. Он спешил. И спешила грузовая машина, на которой он ехал к Днепру, обгоняла покрытые брезентами «катюши», вскачь мчавшиеся повозки; растянувшись вдоль обочины, споро шагали солдаты, подоткнув за ремень полы шинелей, – все торопились, тянулись к переправе, к Днепру, возвышавшемуся на горе впереди.

Свободный ветер летел Борису в глаза, гудел в ушах, забирался в рукава, и он глотал этот ветер, чувствуя его свежую, щедрую силу.

Майор, армейский интендант, ехавший рядом с шофером, поминутно высовывал из кабины голову и, надвигая на лоб фуражку, смеясь и захлебываясь ветром, кричал дурашливо, по-молодому озорно:

– Эх, Аню-юта-а! Давай жми! Газ на всю железку! Лихач! А, лихач ведь он, капитан? Он у меня лихач! Как с ним ездить, ха-ха! Невозможно! Не надеюсь на него, не-ет! Есть у меня, знаешь, лейтенант Таткин. Так тот в кузове с грузом ездит. А? Что? Этот лихач ничего не видит, кроме баранки. А Таткин самолеты заметит и давай из пистолета палить: останови, значит! Жми, Аню-юта! А «катюши»-то, «катюши»! – кричал он. – Гордецы, красавицы!

Борису нравился этот средних лет интендантский майор своим избытком веселой энергии, был он, видимо, взволнован скоростью, розовым ноябрьским утром, близостью освобожденного города. Он сам чувствовал некоторую приподнятость, и ледяной комок, затвердевший в его груди с тех минут, когда он выводил людей из окружения, уже не давил так гнетуще на душу. Все эти дни он жил, готовый на все, вплоть до самого тяжелого наказания. Он думал, что Иверзев мог твердо и разрушительно сжать пружину его судьбы, но после того, что он испытал в последнем бою,

ничто, казалось, не могло его удивить, заставить дрогнуть сердце.

И вот сейчас, стоя в кузове машины, он все время думал о широком наступлении, развернувшемся на правобережье, и с наслаждением чувствовал прилив сил, как после болезни, в щурился от ветра, несущегося из пространства.

– Ах, Аню-юта-а! – кричал майор-интендант, крутя головой и озорно подмигивая Борису из кабины. – Что, до Днепра тоже, капитан? А? Грандиозный город!.. Знал его до войны. До Днепра, значит?

– Дальше, майор.

– Лихач, лихач! Сбавь газ! Не видишь? В колонну врежемся! Лихач воронежский! Сто-оп!

Голова майора нырнула в кабину, шофер затормозил, Борис едва удержался на ногах, прижавшись грудью к кабине; пустые канистры, зазвенев, покатились. Впереди, вытянувшись метров на триста, остановилась колонна. Весь видимый Днепр, открывшиеся дали его и песчаные пляжи, заросшие кустарником, и за простором воды Днепра силуэты садов, крыш, церкви и здания на горе – все лежало в тихом розовом свете зари, затопившей край неба. И только спокойный звон моторов плыл над головой. Но он вовсе не показался Борису опасным, даже когда услышал в колонне крики: «Справа „мессера“!» – и увидел, как несколько машин, повозок и «катюш» лениво стали расползаться от дороги по песку. Два тонких, как муравьи, истребителя шли на большой высоте, сверкали там, нежно-золотистые от зари, и это мирное сверкание в небе успокаивало Бориса.

Резко ударили зенитки у переправы, малиновые звездочки разрывов зашевелились в лиловой высоте. Тотчас трескуче зачастили винтовочные залпы в колонне: ездовые, не слезая с повозок, вскидывали карабины, деловито-весело двигали затворами, посылая обоймы в снижающиеся самолеты. А они пошли в пике над переправой.

В это время майор-интендант, на ходу выхватив пистолет, вывалился из кабины на дорогу, ловко скакнул, пригнувшись, к кустарнику и, став там на колени, выстрелил несколько раз по выходящим из пике истребителям. С громом поднялась водяная стена, и «мессершмитты» понеслись над колонной, сразу набирая высоту, показывая металлическое брюхо.

Звездочки зениток, снижаясь, заплясали над дорогой, ездовые нехотя отбежали от повозок, задирая головы, перезаряжая карабины; некоторые легли возле колес; в вытянутой руке майора-интенданта вздрагивал пистолет, бегло палящий в небо, – лицо дерзкое, решительно-озорное, фуражка свалилась на затылок. Самолеты, звеня моторами, мелькнули над

колонной.

Борис спрыгнул на дорогу. Майор, надвигая фуражку, провожал глазами уходящие самолеты.

– Жаль, Анята, – отчаянно подмигнул он Борису. – Был у нас случай: один лейтенант из пистолета... чем судьба не шутит! – сказал он с легкой уверенностью, рассмешившей Бориса, и вдруг восторженно закричал, глядя на шофера: – Лихач, ну не лихач ли, капитан? Заснул мирно под шумок. Двигаем, двигаем!

«Катюши» и повозки, разъехавшиеся по сторонам во время бомбежки, вползали на дорогу. Колонна двинулась и сейчас же приостановилась. Послышались голоса:

– Что там?

– Переправу разбомбили.

– А саперы чего думают?

Мимо сгрудившихся повозок, санитарных и грузовых машин, мимо ездовых, кутивших в ожидании, Борис пошел к переправе, увидел издали алеющий от зари песок и возле берега покореженные понтоны, расщепленные доски; там сновали фигурки людей. Осенней свежестью дуло в лицо ему от Днестра, а по ту сторону, за великой шириной воды, возвышался город, недалекий уже.

Саперы попарно, с бревнами на плечах, бежали по понтонам к тому месту, где был разрыв, и прямо в шинелях прыгали в воду, погружаясь в нее по грудь, резко взмахивали взблескивающими топорами.

– Отчаянно работают, товарищ капитан, а? – сказал Борису незнакомый шофер, лежа животом на крыле машины Красного Креста, наблюдая с любопытством. – Глядите, как они... Это что же? Опять летят? Что за...

Шофер вскинул голову, выругался, затем вскочил в кабину, крикнул что-то, Борис не разобрал в грохоте близко застучавших зениток. Люди побежали назад по понтонам, лишь две-три искорки топоров упорно вспыхивали над водой.

Борис, оглушенный командами и ревом разворачивающихся на дороге грузовиков, посмотрел в небо.

Их было по-прежнему два. Они со звоном неслись мимо облачков зенитных разрывов. Борис сел на край песчаного окопчика у самой воды, но визг бомб заставил его втиснуться в него.

Когда после взрывов он поднял голову, то увидел поврежденный безлюдный понтон и близ него искорку, поблескивающую над водой. Истребители сделали стремительный круг в высоте, снова стали падать на

переправу.

Но Борис уже не залезал в окоп, глядя на эту мелькающую единственную искорку, изумленный бесстрашием неизвестного солдата. Первый истребитель пустил косую очередь по понтону, а второй сбросил бомбу. Она накрыла волной конец моста и, кажется, не повредила его. Но искорки не было. Только над водой поднялась и исчезла, как нырнувший поплавок, голова солдата. Кто-то крикнул из соседнего окопа:

– Ранило! За сваю держится! К берегу бы ему!..

В то же время непонятная сила, то ли восхищения, то ли мгновенной злобы на беспомощный крик: «К берегу бы ему!» – упруго выбросила Бориса из окопа, и он почувствовал, что бежит по качающемуся на волнах мокрому понтону, к возникающему впереди просвету воды, к этому солдату.

Когда Борис добежал до конца разорванного моста, он услышал пронзительный падающий стрекот сверху, красные стрелы пролетели вдоль понтона, со звенящим клекотом вверху мелькнули тени, – в ту минуту он заметил в воде торчащую свежую сваю и рядом – голову.

С разбегу Борис лег на скользкие, окаченные водой доски, протянул руку, крикнул:

– Плавать умеешь? Ранен? Два шага сможешь сделать?

Солдат молча сделал движение в воде, оттолкнулся от сваи; голубые серьезные глаза глядели не на Бориса, а в небо.

– Горит, – сказал он шепотом. – Эх, топор потерял...

Он схватился красными руками за доски. Борис изо всей силы подхватил его под мышки, вытянул на понтон, с солдата лились потоки воды, но он, точно не замечая Бориса, молчал, все смотрел на небо, и Борис удивился его спокойствию.

– Ты что же голову дуриком под смерть подставляешь? Жить надоело? – спросил он наконец не строго, а дружески. – Сапер?

– Все-таки упал, – со слабой улыбкой ответил солдат, глядя мимо плеча Бориса. – В лес упал.

Борис невольно посмотрел туда. Длинная черная струя дыма протянулась в небе и, снижаясь, обрывалась на востоке, над кромкой темнеющих лесов. Другой, теперь одинокий истребитель, ныряя среди всплесков зенитных разрывов, уходил на запад.

По лиловым от зари доскам понтона бежали люди. Зенитки смолкли. Доносились голоса:

– Санитаров сюда! Есть санитары?..

– Из медсанбата кого-нибудь!

Борис повернулся и зашагал назад. Майор-интендант, переводя дыхание, весь потный, наскочил на него, фуражка лихо сбита на затылок, волосы слиплись на висках, заорал азартно:

– Аню-юта-та! Капитан! Что тут отчубучилось? Кого ранило?

– Все в порядке. Идемте к машине.

– Не-ет, подожди. Что случилось? Ты чего улыбаешься?

– Все в порядке, говорю, – засмеялся Борис, и вдруг лицо его перекосилось, он оттолкнул майора, шагнул вперед, прошептал недоверчиво и изумленно: – Шура?! Шура?!

– Какая Шура? – закричал майор. – Ты чего, Анюта? Спятил?

Нет, он не спятил! Он ясно увидел среди людей на понтоне знакомое, родное, мелькнувшее милым овалом лицо, увидел знакомую, обтягивающую тонкую фигуру шинель, санитарную сумку на боку, хромовые сапожки.

Но она не увидела его, не подняла головы в этот момент, когда он заметил ее, почти пробежала мимо, и негромкий, хриплый от волнения окрик его настиг ее в четырех шагах от него.

– Шура...

Ее узкие плечи вздрогнули, она вся замерла, настигнутая его голосом, быстро повернулась, растерянная, и он увидел ее губы, глаза, глядевшие на него с выражением боли, страдания и страха. И он повторил охрипшим голосом:

– Шура...

– Борис? – еле шевеля губами, прошептала она. – Это ты?.. Ты?..

– Шура...

Он так крепко, страстно и горько обнял ее, что Шура пошатнулась, как бы еще не веря, зажмурил глаза, и он, не обращая внимания на людей, бестолково снующих по понтону, толкающих их, стал торопливо целовать ее холодные, сомкнутые губы, не отвечающие ему в это мгновение, ее лоб, глаза, вздрагивающие мягкие ресницы, готовый отдать за эту встречу все, что мог еще отдать. Он повторял:

– Шура, родная моя, пойдем. Тебе нечего здесь делать. Там никого не ранило. Пойдем. Не надо этого, родная моя...

Он прижимал ее голову к своему плечу, видел, как дрожат ее брови, как сквозь смеженные ресницы просачиваются светлые капельки слез.

– Борис... милый ты мой... Если бы ты знал... – прошептала она, плача, с тоской блестя влажными глазами ему в глаза. – Если бы ты знал, что я передумала в эти дни... Я виновата...

Он не знал, в чем она виновата, но он готов был простить ей все.

– Не надо вспоминать. Видишь, все хорошо, и мы встретились. Не надо слез...

– Не надо, да... не надо слез. – Она попыталась улыбнуться ему. – Я просто стала замечать... нервы... Но только... Пойдем, пойдем... Вон туда, на берег. Как ты похудел! Просто не узнать! Пойдем. Нет, ты не думай, я тебе все, все скажу. Хочешь, я тебе все скажу? А то мы опять расстанемся и ты опять забудешь меня!..

– Шура, мы теперь не расстанемся! Ты будешь все время со мной. Ты слышишь? Я тебя никуда не отпущу. Ни на шаг от себя!

– Нет, расстанемся. Опять бои, бои...

– Это не сможет нас разлучить. Ты будешь со мной.

Они шли по берегу Днепра все дальше и дальше от переправы, затихали голоса за спиной, и, наливаясь розовым огнем, влажно шуршал песок одичавших пляжей, и на нем оставались близкие следы их сапог – первые, очевидно, за войну следы мужчины и женщины, идущих здесь.

Он остановился, ласково-нетерпеливо повернул ее к себе и долго, будто не узнавая, разглядывал ее лицо. А она осторожно потрогала пальцами рукав его шинели, снизу вверх взглянула в глаза, медленно краснея, улыбнулась ему:

– Неужели это ты? И ты вернулся?

– Я вернулся. И я люблю тебя. И больше никуда не отпущу от себя, хотя знаю, что ничего не кончено...

Он опять притянул ее к себе и снова так сильно обнял, что стало невозможно дышать обоим.

– И ты, – проговорил он, – ты все же верила, что я жив?

– Я хочу, чтобы... ты меня любил, – прошептала она, подняв лицо. – Я хочу... только этого. Неужели мы опять расстанемся?

– Еще ничего не кончено, но я люблю тебя. Я люблю тебя.

...Потом они ушли отсюда, и следы, тянущиеся на песке, сначала затянуло водой, потом совсем рассосало их, и они исчезли.

Примечания

1

Феликс, Феликс! Иди ко мне! Они спят! (Нем.).